В. ВЕЙДЛЕ

БЕЗЫМЯННАЯ СТРАНА

YMCA-PRESS

В. ВЕЙДЛЕ

БЕЗЫМЯННАЯ СТРАНА

YMCA - PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
Paris 5e

Copyright 1968 by YMCA - PRESS
Société à responsabilité limitée, Paris
Tous droits réservés

Что это такое — Россия ?

Если бы мне задали этот вопрос, разбудив среди ноги, я вероятно ответил бы: Пушкин. После гего пришлось бы мне задуматься и уже не спать, пожалуй, до утра.

Пушкин. Я мог бы также сказать: Толстой, Тютгев; первая страница « Мертвых душ ». Или вспомнить « иззябло дитё, промерзла одеженка » и весь сон Мити Карамазова, после допроса в Мокром, о том, « гтобы не плакало больше дитё ».

Да и мало ли гто еще. Успенский собор. Адмиралтейство. Колея, откос, плетень по откосу, а за ним уходящая вдаль безбрежность волнистых полей.

Образы России неисгислимы. Исгерпывающего нет и не может быть. Не о них и была первая моя мысль. « Пушкин » не о том; и не о литературе. Мысль моя была о языке.

« Шипенье пенистых бокалов », а то и разговор Селифана с лошадьми, его напутствие шустрой девгенке: « Эх ты, герноногая ! » — это и есть Россия: та, где живу, та, гто живет во мне. Говорю, пишу не на этом одном языке, но живу в нем и тем самым живу в России. Довольно мне этой если нет другой. Ее язык — наш и мой язык. Пушкин, и Толстой, и Тютгев, и Селифан, и московские просвирни, и вы, и я, и все мы в нем одно. Оттого и ответил я на тот вопрос, назвав Россию именем ее поэта.

Правдиво ответил, и от этой правды не отрекусь. Но все ли я сказал гто нужно ? Разве для Пушкина — как раз для него — одним этим была Россия ? « Слух обо мне пройдет по всей Руси великой . . . ».

Для него она воплощалась не в одном языке, но еще и в обширной, мощной державе, не только вмещавшей в свои пределы все, что он о России знал, все, что в ней любил, но и сливавшейся со всем этим воедино. « Россия ! встань и возвышайся ! » Это было им сказано по особому поводу и не без воинственного задора, но никогда бы он этого не сказал, если бы мыслил душу России отделенной от ее тела, от страны, носящей это имя, и даже от царства-государства, нареченного тем же именем (оно то, собственно, и дало имя стране). Как же мне следовало ответить на тот ночной вопрос, чтобы не разойтись с Пушкиным ? Быть может, так: Россия ? Да ведь это то самое, что зовется нынче СССР.

Скажут: верно; так оно и есть. « От финских хладных скал до пламенной Колхиды » — СССР. От далеко на запад продвинутых границ « до стен недвижного Китая » — СССР. « Слух обо мне пройдет » по всему великому Союзу Советских Социалистических Республик. Только я все же между Россией и СССР знака равенства не поставлю, будите меня хоть десять ночей подряд. Ведь эти четыре буквы или четыре слова всего лишь ко всем услугам готовая и ради них придуманная кличка, которая при случае подошла бы к Патагонии или Новой Зеландии не хуже, чем к Московии; больше того: как раз и рассчитанная на такой случай. И обозначает она, конечно, не душу России и даже не ее тело, а лишь универсального покроя мундир, напяленный на нее совершенно так же, как он напялен на многие другие страны и который закройщики его готовятся напялить на весь мир. Что же касается другой клички, менее ходкой, РСФСР, то Россия тут хоть и упомянута, но в виде прилагательного, как если бы человека назвали не Иваном, а ивановской разновидностью блондинов среднего роста. Имя тем самым было бы у него похищено. И точно также, пять ли букв или четыре наклеить на живую плоть, это значит не имя

ей дать, это значит украсть у ней имя. Нет, Россия не то самое, что зовется СССР. Так зовется лишь мундир, или футляр, или тюрьма России.

Безымянная страна ! То, что было Россией Пушкина и Толстого, как и Русью Троице-Сергиевской лавры, инока Андрея иконописца, то нынче безымянно. Нет больше имени, которым назывались бы совокупно и Гоголь, и Селифан, и « шипенье пенистых бокалов » — « Медный всадник », « дитё » колея, плетень и поля. Не то, чтоб пропало. Оно живо, оно все то же; все его знают; знают и там не хуже, чем здесь. Но страну лишили его, и потому оно стало тайным, а став тайным, стало святым — святее, чем в былые времена. Грех поминать его всуе. В стране четырех букв, если не всуе поминают его, то поминают с опаской, потому что знают: не тюрьма именуется им, а все то, что нынче в тюрьме. Нам же здесь, за рубежом, нужно помнить твердо: СССР не Россия; и столь же твердо: Россия — там, под этим никчемным ярлыком. Не мы, а новые поколения русских людей, те, что уже пришли или еще придут на смену старым, сделают то, чего мы сделать не можем, не вернутся назад, но свяжут будущее с прошлым, буквы сотрут и скажут:

— Встань, безымянная страна,

Россия ! встань и возвышайся !

мы вернули тебе отнятое у тебя имя. Мы в душе все прошедшие годы им называли твою душу. Отныне ты вся им будешь зваться, как прежде, вновь и навсегда.

I

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ОТКРЫТКИ

Рассматриваю открытки, петербургские открытки. Не теперешние — старые, тех времен, когда я под стол пешком ходил, или, вскинув ранец на плечо, с Малой Конюшенной на Мойку бегал. Невского без двух уродов — новеньких, хвастливых — дома Елисеевых и дома Зингера не помню, но Вавельберга дом — злосчастная помесь дворца Дожей и палаццо Питти — строился при мне. А рядом с ним, пониже и без причуд — четырехэтажный темнокрасный — там « Балабуха. Сухое киевское варенье ». В младенчестве моем я и всякое называл балабухой.

На одной открытке — конка (ездил я и на конке) ; на других — уже трамвай. Гостиный Двор почему-то кажется приземистым и захолустным. Адмиралтейство за деревьями вдали — другое дело. Но игла его в лесах. Какой же это год, когда ее чинили ? Городовой. Два извозчика. С твердыми знаками «Ресторан Лейнер», и напротив английский магазин, где покупалось то черное глицериновое мыло, которым моюсь и теперь. Все то же оно, с недушистым — тем и приятным — запахом. Теперь, как и тогда. А он, мой город ? Все тот же ? Сорок с лишним лет минуло с тех пор, как я прощался с ним.

Ответа не получу. Но ведь и спрашиваю некстати. Разве эти открытки на него похожи ? Их много, тут не один Невский. Есть и дворцы — Михайловский, Мраморный, Зимний; кариатиды Эрмитажа, Исакий,

Летний Сад, Александринский театр. Чудесная Театральная улица. Только все это не то. Не та улица, не тот сад. Купол не тот. Не то объятие колоннад перед Казанским собором. Это почему же ? Плохие старые снимки ? Лубочная порой раскраска ? Нет, дело не в этом. Те три дома — не оттого-ли я с них и начал ? — похожи, но ведь эта мешанина и « стиль модерн » это в Петербурге не-Петербург; а все другое, хоть и узнаваемо, да мертво; дразнит память и не оживает. Ходил я по этим самым улицам, мимо этих самых зданий и домов, но видел не их. Биржа за рекой, Петропавловская крепость, Смольный... Рассматриваю. Они все на месте. Хорошо построено. Пощупать нельзя, но то, вот именно, и плохо, что как бы можно пощупать. Когда я в Петербурге глядел на них, я и видел их, и снились они мне. Петербург — не штукатурка, не камни. Петербург, это видение.

*

Больше ста лет прошло с тех пор как Достоевский в « Зимних заметках о летних впечатлениях » назвал его « самым фантастическим городом, с самой фантастической историей из всех городов земного шара ». Фантастичность означает в данном случае нереальность, « невсамделишность », призрачность, а в основе всего этого — парадоксальность, искусственность; черты эти восходят к самому основанию города, и присущи восприятию его отнюдь не одним только Достоевским. Не история Петербурга фантастична — Петербург фантастичен, оттого что порожден фантазией, прихотью Петра; призрачен, потому что создан его произволом. Парадоксален замысел новой столицы, выбор места для нее — где-то с краю, да еще и на болоте. Парадоксальна совершенная нерусскость облика, особенно первоначального облика ее. Парадоксально само ее имя.

Имя это голландское: Санкт-Питербурх. Так оно в первые времена и произносилось, и писалось. Оттого в простонародном обличьи своем и стало оно не Петером, а Питером. Переименование столицы в 1914 году было трижды нелепым. Во-первых, мы тогда с Голландией не воевали; во-вторых, Петр окрестил город не своим именем, а именем святого, которое ему самому дано было при крещении, так что по-русски соответствовало бы этому наименование « Святопетровск », а не « Петроград »; в-третьих, даже если бы Голландия объявила нам войну, и если-бы Российская держава уже тогда, а не через несколько лет после того, решила отречься от христианства, переименовывать столицу все же было бы нелепо.

Дело Петра было сделано, отменять его, возвращаться в Московскую Русь никто ведь тогда и не собирался. Для России, если не для Руси, имя Петербург стало русским именем. Но в 1703 году парадокс был и в самом деле парадоксом, и по-голландски названная новая столица в самом деле могла казаться русским людям чужеземной выдумкой, наваждением, неживучим сонным маревом.

Такой она им и казалась — и когда основана была, и когда стала столицей уже не в замысле, а на деле, да еще и много позже... Недаром перешептывались: « Петербургу быть пусту ». Недаром три года всего после смерти Петра, недавние его льстецы, бояре, которым обкарнал он бороды и кафтаны, внушили его внуку промолвить: « Не хочу гулять пó морю, как дедушка », да и двинулись со всем скарбом назад в Москву с остзейских берегов, стали уже и забывать о них, пока через пять лет курляндская Анна их к тем берегам не возвратила.

Еще ведь и памятно было, что все на тех берегах началось с наводненья и цынги; знали во что обошлись те каналы, мостовые и на заморский лад возве-

денные палаты, которые по словам очевидца, еще в двадцатом году тряслись и качались, когда карета проезжала мимо них. Людей Петр не берег, как впрочем, и себя; пекся о будущем, а не о настоящем. « Парадиз » его строился насильно, каторжным и убийственным трудом. Справедливо Ключевский писал: « Едва ли найдется в военной истории побоище, которое вывело бы из строя больше бойцов, чем сколько легло рабочих в Петербурге и Кронштадте ». В первое же лето множество их перемерло от цынги и поноса; а под осень австрийский посланник доносил, что две тысячи раненых и больных утонули в первом наводнении. О втором, три года спустя Петр писал Меньшикову: « Зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, бутто во время потопа сидели, не точию мужики, но и бабы ».

Столь забавное зрелище видел он не в последний раз: в его царствование столица перенесла одиннадцать наводнений. Пожарами посещалась она тоже вполне исправно. В десятом году сгорел Гостиный Двор на Петербургской стороне; в восемнадцатом — Сенат и военная Коллегия. Опасность пожаров была тем более велика, что каменные строения высились лишь вдоль рек; все, что окаймлялось их фасадами, было деревянным. Но и бревен не хватало, не только камня. Все привозилось издалека. Для острастки воров, виселицы стояли возле складов.

Таково было начало.

*

« Люблю тебя, Петра творенье ! » Кто бы мог это сказать в те годы, кроме самого Петра ? Он все задумал, он всем руководил, все выполнялось по введенному им регламенту, отступить от которого значило подвергнуться строгой каре. В регламентации — секрет Петербурга,

корень его отличия от других русских городов, да и от тогдашних западных столиц. Улицы проводились по ранжиру, дома воздвигались по установленным свыше образцам. Деревянные предписывалось обшивать тесом и раскрашивать под кирпич, чтоб смотрели понарядней. Неладно построенные каменные — « по архитектуре поправлять ». На крыльцах всех тех, что тянулись вдоль будущей Адмиралтейской и Дворцовой набережной — поставить чугунные балясы. В 21-ом году Петр нашел, что здания бойни возле устья Мойки сделаны « весьма худо », и распорядился вправить их « в линию регулярно, подобностью якобы жилое строение, и с фальшивыми окнами, и для лучшего вида расписать красками ». Заботился он обо всем, всякие беды старался предотвратить; велено было мох, употреблявшийся для конопаченья стен, обваривать кипятком, чтобы в домах не заводились тараканы. Как ни тягостно было для многих это вечное « Этак, а не так », это « регулярно », это « в линию », все же и о « лучшем виде » при этом не забывалось. Хоть и много было в широко планированном и наспех застраиваемом городе фальшивых окон — в прямом и переносном смысле слова — хоть и обживаться по-настоящему начали в нем вероятно лишь ко времени Елизаветы, а все-таки прав был птенец Петрова гнезда Неплюев, когда сказал: « Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими ». И то же самое мог бы он сказать об основанной Петром столице.

« Люблю тебя » . . . При Екатерине, при Александре многие говорили это в мыслях Петербургу, а у кого любви к нему не было, тот все же вторил беспрекословно восторгам иностранцев. Перемена тут наметилась в те годы, когда он раз навсегда был прославлен Пушкиным. Скоро Герцен напишет: « Любить Петербург нельзя ». Хомяков еще за год до « Медного Всадника » назвал город « Гранитною пустыней », а красоту его

« мертвой »; она и начнет скоро умирать, отчасти оттого, что перестанут ее видеть, отчасти же потому, что примутся ее уродовать. Регламент был ей нужен, этой особой петербургской красоте, этому новейшему из великолепных городов Европы. До смерти лучшего, может быть, из его зодчих, Росси, его еще « поправляли по архитектуре »; но когда архитектура приказала долго жить, то и на « правку » махнули рукой.

В 1843 году опубликован был указ, разрешавший домовладельцам строить дома и красить их как заблагорассудится. Последствия столь неуместно « либеральной » меры императора Николая не замедлили сказаться, но самые тяжкие из них пришлись уже на следующее царствование. Едва ли не тягчайшим была застройка уродливыми и разношерстными домами набережной между двумя флигелями Адмиралтейства, в результате продажи морским министерством соответственного участка в 1871 году; к тому времени Петербургом давно уже перестали любоваться. Тургенев в очень непривлекательном виде описал его в « Призраках ». Писемский в « Тысяче душ » (1858) называет его « могильным », а одного из героев своей книги заставляет говорить о нем вздохнув: « Город без свежего глотка воздуха, без религии, без истории и без народности ». Иван Аксаков в письме к Достоевскому призывает его, ради той же народности, но уже безо всяких вздохов « плюнуть Петербургу в лицо и ненавидеть его всеми силами души ». Достоевский, пожалуй, был бы и не прочь, старался, но не то что возненавидеть, он и разлюбить его до конца не смог. Думал он о нем много, чувствовал его острее, чем кто бы то ни было, даже чем то новое поколение после его смерти, которое вновь полюбило его город любовью искренней, нежной, но все-таки другой, чересчур рассудительной, хоть и со слезой, слишком уже знающей, слишком книжной . . .

Не прошло и года после « Зимних заметок », как он (в « Записках из подполья ») вернулся к своей формуле и ее исправил. « Петербург самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре » — так пишет он теперь, и теперь с ним трудно не согласиться. Отвлеченный ? Да. Планированный, регулярный — « Твоих оград узор чугунный »; « Громады стройные »; « Однообразная красивость » . . . Какая ни на есть, а все же — « Люблю тебя! » Умышленный? Верно. Но ведь умысел все таки удался ! Чего только город не пережил, — нынче население его, нужно думать, на девять десятых новое, другое; и все же — так передают, и я этому верю — лицо его сохранилось, мыслят и чувствуют в нем не совсем так, как в остальной России, как в Москве. А различие это — « на нем все тесто взошло », оно — неотъемлемая, драгоценная черта всей послепетровской, послепушкинской России. « Бессмертная ошибка », сказал об основании Петербурга Карамзин; но зачем же называть ошибкой такой верный выбор, такой оправданный произвол ?

Без этой двойственности скучна была бы Россия. Без железного этого корсета расплылись бы ее телеса. Будь одна у нее московская литература, калачами она бы нас кормила, да блинами. Не было бы четкости Пушкина, если бы до нее не было четкости Петра. Пусть и впредь будет так. Пусть еще подтянет Москву Петербург — не вожжами, не уздой, а улыбкой и вполголоса: опомнись, оправься, не заносись, проверь разумом разрыхлевшие твои чувства. Русью быть хорошо, но еще лучше Россией. И — сей город отечество наше привел в сравнение с прочими.

Верю. Хочу верить — бессмертен Петербург. Не ошибкою бессмертен. Под чужим именем жив. Хоть и заштатная столица, а столица. Правда, а не выдумка. И все же — нет Петербурга, не тот он Петербург, если не двоится он, если не в тот же он миг и действитель-

ность, и мечта; и твердо на сваях стоит, и рассеивается миражем. Умышленный и отвлеченный этот город, он и впрямь какой-то невесомый и сквозной. Оттого-то и есть, должно быть, в нашей любви, даже в пушкинской любви к нему что-то бесплотное — от виденья больше, чем от прикосновенья. Оттого-то и открытки эти на столе передо мной — даже арка Главного Штаба, хоть и пеленали меня тут, хоть и жил я потом десять лет по соседству с нею, даже « всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне » — нет, картинки эти, не нужно мне их. Глядел, разглядывал, и будет. Бог с ними. Старый приятель их принес, хотел подарить ... С благодарностью возвращаю. Не потому, что уж слишком был бы я ими растревожен: когда прощался, знал твердо, что прощаюсь навсегда. Но потому что не глядя, глаз не открывая я вижу его ясней внутри себя. Теперь мне рукой провести по его камням не хочется. Одно неосязаемое вижу; оно нежней, но и сильней того, что можно осязать. Зингерова дома не вижу. Нет ни « Балабухи », ни вербных базаров, ни масленичных балаганов. Зато нет и домов, что въелись в Адмиралтейство. Только оно, его игла. Нет и ни того, и ни другого « града », только Петербург. Небо над его садами и дворцами, набережная, ширь Невы ...

С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему ...

Так прощался Блок с Пушкинским домом, Пушкиным, Петербургом.

Так прощусь с ним и я. В последний раз.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Пора вернуться в Россию. Не нам, а России: детям и внукам всех тех, с кем мы расстались, когда мы расстались с ней. Пора им зажить в обновленной, но все же в той самой стране, где мы некогда жили, в России-Европе, в России, чья родина — Европа. Из нерусского, мирового по замыслу, но Европе враждебного СССР пора им вернуться в Россию и тем самым в Европу; пора вернуться на родину. Они и сами это знают, с каждым годом все лучше, без нашего совета. Возвращение уже началось. Когда оно завершится, пусть не будет нас больше в живых, вернемся и мы в Россию, вернутся все те, кто умер вдали от нее, сохранив ей верность, сохранив верность России-Европе, в те годы, когда безымянная страна, занявшая ее место, отреклась от нее, отреклась от России и от Европы. *Это* возвращение тоже началось. Другого и быть не может для тех, кому перестала быть родиной страна, отрекшаяся от собственной родины.

*

Ходячее западное противопоставление Запада Востоку коренится в политике и прежде всего запутывает ее же, подсказывая мысль, что есть единый Восток и единый Запад и что мир между ними разделен; но не одной политике оно вредит, и питается скверною привычкой, с нынешним положением вещей не имеющей ничего общего. В Париже издавна существует Институт Восточных Языков, где преподают, среди других, и ново-греческий, и все славянские языки. Не-

чего и говорить, что в старой России, на факультетах восточных языков, эти языки не преподавались. Досоветская Россия, в государственном сознании своем, славян и греков восточными народами не считала, себя к Востоку не причисляла. Несмотря на свои огромные азиатские владения она сознавала себя Европой. Географически, разумеется, относилась она к восточной Европе, но « восточная Европа » это ведь всего лишь восточная часть Запада, потому что европейский мир, включающий в себя и всю Америку с Австралией, это и есть западный мир, короче говоря, « Запад ». Новая, отрекшаяся от своего имени Россия — в европейской своей части, да и вся целиком, раз столица ее находится на запад от Урала — точно также, логически рассуждая, не имеет накакого основания считать себя Востоком, тем более, что и антихристианская (и тем самым, исторически, антиевропейская) идеология, отторгнувшая ее от Запада, отнюдь не восточного происхождения. Но политика, сперва внушавшаяся этой идеологией, а теперь использующая ее, о логике не заботится. Приверженцы этой политики одной из главных своих задач считают овладение Востоком (на пути к овладению всем миром), и им представляется выгодным, чтобы страна, подвластная им и дающая основу для расширения их власти, слыла уже сейчас (пусть лишь до поры до времени) Востоком, представляла, возглавляла бы Восток. Политика эта встречает непредвиденные (оттого что вскормленные самой что ни на есть « нашей » и « родной » идеологией) затруднения; но ведь недаром « Востоком » был назван и тот сверхвоздушный корабль, на котором русский звездоплаватель совершил свой первый, вызвавший всемирные восторги, ракетно-ядерный полет.

Называли Россию — в самой России — Востоком и прежде; но не ее государи или их министры, а интеллигенты наши обоих толков, как западнического, так и

славянофильского. Владимир Соловьев, и тот ее вопрошал: « Каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа », забывая как будто, что могла она ему ответить: не хочу быть Востоком Ксеркса, как и не хочу быть Западом Торквемады, религиозных войн или гильотины, водруженной на Площади Согласия; но помню, что христианство получила я, как и Запад, не столько даже и с Востока, сколько с Юга, и что оно-то меня с Западом и роднит; и, вместе с ним, нехристианскому Востоку противополагает; вам же, Владимир Сергеевич, вовсе и не следовало бы называть меня Востоком, ведь хорошо вам известно, сколь многие зовут меня так на Западе, считая меня при этом Востоком именно Ксеркса, а вовсе не Христа.

Права была бы Россия, если бы так ответила Соловьеву, но в конце концов не так уж важно было нам, русским, не так уж важно наследникам нашим в Советском Союзе, считают ли на Западе нашу и их страну Востоком или нет. Гораздо важней, чем мы сами, вчерашние или нынешние, ее считаем. Если Востоком, то это значит, что мы порываем с собственным прошлым, зачеркиваем и лишаем смысла свою историю. Восток и Запад — не географические, а исторические понятия. Важно не то, что Россия — восточная Европа, которую позволительно, внутри Европы, противополагать Европе западной. Важно, что она — Европа. Важно, что русский народ принадлежит к семьи европейских народов, и русский язык к семье европейских языков. Для истории, Восток это Азия. Азия создала великие культуры, но русская не их отпрыск, а отпрыск культуры европейской, вне которой она непонятна, исторически немыслима. Противополагать Россию Западу, прикреплять ее к Востоку, это значит искоренять ее из Европы и тем самым отрекаться не только от наследия Пушкина и Петра, но и от всего ее тысячелетнего христианско-европей-

ского прошлого. Лицемерная хвала этому прошлому может воздаваться и при полном затемнении подлинного его смысла, но предначертанная им преемственная связь, уже ослабленная, уже во многом разорванная, окончательно оборвалась бы, если бы удалось оторвать Россию от Запада, отсечь восточную Европу от остальной Европы. Пусть те, кто распоряжается нынче судьбами России, считают именование ее Востоком, противопоставление ее Западу уместным и для их целей полезным; оно от этого не перестанет противоречить разуму и совести.

Порой до чего-то близкого этому договаривались и в былое время, но лишь в нашем веке наметилось соответствие дел этим на ветер брошенным словам. В 1918 году Блок писал:

Да, скифы мы! Да, азиаты мы —
С раскосыми и жадными очами...

и пророчил о том, что Россия обернется к Западу «своею азиатской рожей». Риторика этих стихов, что и говорить, даже поэтически была выразительна; но если бы провозглашающие Россию Востоком пожелали принять их всерьез, а то и, чего доброго, извлечь из них политическую программу и тем самым пророчество их выполнить, то у их подданных достаточно будет, нужно надеяться, здравого смысла, чтобы сказать, — если мужества хватит, то и вслух — примерно следующее:

О скифах давно бы все забыли, не опиши их Геродот, и не будь их искусства, греческого, хоть и не по духу, но по выучке и совершенству, с которым, однако, даже и древнее наше искусство ничего не имело общего. Певец их знал о них не много, и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно, к тому же, почему надо обзывать рожами

азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными. А главное, зачем же России обращаться не лицом, а рожей, пусть и не азиатской, к кому бы то ни было, и тем более к Западу, к европейскому миру, вне связи с которым не было бы у нее ничего — ни литературы, ни мысли, ни музыки, ничего, чем она веками жила и еще живет. Не было бы и Блока...

Он тогда же писал в дневнике об Англии и Франции, недовольных брестским миром и собиравшихся было « погубить революцию », что они вследствие таких замыслов « *уже не арийцы больше* » (подчеркнуто Блоком). Вот, мол, откроем ворота и « на вас прольется Восток. Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины ». — Поэты бывают пророками, даже когда беснуются. Насчет арийцев постарался Гитлер. Шкуры, даже и со своих « партейных », Сталин посдирал. Что же до китайских тамбуринов, то они как раз теперь звенят и напоминают России, что она — не Азия. Да и самой Азии, в наше время, все трудней становится жить своим азиатским наследием. Мы им во всяком случае жить не можем. Лишь вернувшись в Европу, мы вернемся на родину, и Россия станет вновь Россией, только сделавшись снова европейской страной.

*

Из Европы она ни в какие времена полностью не выпадала. Духовная жизнь ее выросла на основе христианства, преподанного ей Византией, наследницей Греции и наследницей римской империи. Преемственность эта и после татар не оборвалась, а с Западом, в до-татарские два века, наша древняя Русь была гораздо теснее связана, чем Византия. Новгород и Псков эту связь сохраняли до утраты независимости, а с Ивана III-го она стала намечаться и в Москве. Для ощущения

единства христианско-европейского мира, отличавшего киевскую Русь, но не исчезнувшего и в московской, при всем ее недоверии к « латинству », характерно, что русская Церковь, в противоположность византийской, сочла и никогда не перестала считать *своим* праздником « Перенесение мощей иже во святых отца нашего Николая Чудотворца из Миры во град Бари », хотя доставили их туда западные военно-торговые люди, завладевшие ими не без вероломства и насилия. Отчуждения Московии от Запада преуменьшать ни в коем случае нельзя: за него то мы, по всей вероятности, Революцией с большой, с пребольшой буквы и вызванным ею новым отчуждением в конечном итоге и заплатили. Но непроницаемой преграды между нами и Западом старо-московское то отчуждение все же не воздвигло, с Азией нас сколько-нибудь решающим образом не сблизило и задолго до Петра начало заметно ослабевать. Когда ему не было еще и двенадцати лет, в октябре 1683 года, во всех московских церквах служили благодарственные молебны по случаю освобождения Вены от турецкой осады: басурманской столицей та раскольничья, стрелецкая, избяная Белокаменная все же не была.

Когда Петр, подросши, растолкал, взбудоражил ее, осрамил и развенчал, когда он всю страну « вздернул на дыбы » и выстегал заморской плетью, многое так и осталось поруганным и оскверненным, но переворот был все-таки *направлен* верно, окно прорублено на Запад, а не на Восток. Доказательством этому служат все дальнейшие двести лет, и прежде всего тот необыкновенно бодрый и быстрый рост государственной, хозяйственной и созидательно-духовной жизни, которым было отмечено время от Ломоносова до Пушкина. Кто же нас воспитывал тогда, если не Запад ? И воспитание это было нам нужно. Без него мы бы не стали тем, чем мы стали благодаря нему.

В до-петровской Руси не было общепринятого, т.е. соответствующего языковым навыкам образованного общества, литературного языка (потому что не было и самого этого общества). При Петре язык был засорен хаотической массой заимствований из голландского, немецкого, английского, французского языков; но уже через два или три поколения заимствования эти были отброшены или усвоены, было найдено равновесие между русскими и церковно-славянскими элементами книжной речи, и через сто лет после смерти Петра у России был обще-литературный язык, уже не намного менее гибкий и богатый, чем у англичан или французов. Их литературы, как и другие, влились в нашу, оттого что сделались впервые переводимыми на наш язык. И точно также впервые было выработано стихосложение, родственное немецкому и английскому, и, в отличие от прежнего, вполне отвечавшее особенностям русского языка. Только что сложившись, оно уже послужило Державину, поэту обще-европейского масштаба, а затем Пушкину, после чего применение этого масштаба к нашей литературе полностью узаконилось: она стала равноправной составной частью европейской литературы. То же можно сказать о музыке, архитектуре, изобразительном искусстве. Вся работа мысли и воображения перестроилась у нас на западный лад, обрела новую основу, созданную Западом. Старая, византийско-киево-московская основа не исчезла, не могла исчезнуть, но первенствующее значение сохранила лишь на большой глубине: в мысли и чувстве, питаемых религией, а также в религиозно-бытовом укладе народной жизни. В языке она отошла на второй план — вернее, легла на дно — как и в литературе, поскольку писатель не делал того душевного слоя или того быта, что ею определялись, предметом своего изображения. В музыке, живописи, архитектуре от нее остались — на поверхности их — лишь совсем слабые

ее следы. Если придавать слову « язык » самый широкий смысл, обозначая им все средства выражения и общения, доступные человеку, можно сказать, что уже со времени Ломоносова и тем более начиная с Карамзина, Жуковского, Пушкина, Глинки, Захарова, Востокова, Сперанского, Россия заговорила на языке, которому научил ее Запад. Сближаясь с Западом, она европеизировалась, что в данном случае значит: возвращалась в семью родственных ей европейских народов.

Долго была она с этой семьей разлучена, но другой не обзавелась: этому помешал греко-христианский стержень ее духовной жизни. Европейское будущее было ей предначертано самым давним прошлым. Вот почему так грубо ошибаются западные историки, приравнивающие этот ее возврат к европеизации Индии или Японии. Эти страны сохраняют своеобразие вопреки европеизации и ровно в той мере, в какой она не завершена; Россия заложенное в ней своеобразие только вернувшись в Европу и смогла полностью осуществить. Она стала, конечно, более похожей на западные страны, чем была до того, но это сходство не уничтожило несходства, а сочеталось с ним и привело к цветению, которое вне такого сочетания было бы немыслимо. Ущерб ей был нанесен только грубостью петровской хирургии, слишком резким отсечением старого от нового, приведшим к чрезмерному разладу между тем, чем продолжало жить крестьянство, и тем, к чему устремлялось дворянство, а потом интеллигенция. Славянофилы оценили это правильно, не поняв только, что разлад, при всей трагичности — или как раз в силу ее — был и творчески плодотворен; потому, вероятно, что совсем непримиримого разлада между двумя христианско-европейскими наследиями не могло и быть. Зато позднейший славянофильский национализм впал в явное заблуждение, противополагая « самобытность » европеизму, как будо она не могла быть внутри-европейской,

как будто Европа вся сплошь не состояла из враждующих и все же объединенных в ней, самобытных, несходных между собой и все же неотъемлемых одна от другой наций. Единство Европы не отделимо от ее множественности, — национальной прежде всего, но и еще более дробной, сказывающейся и внутри отдельных наций. Это у нас во второй половине прошлого века стало ускользать из поля зрения не только славянофилов, но и западников, как либеральных, так и революционных. Европа для них либо превращалась в безличный образчик всяческого « прогресса », либо подменялась еще более узкими идеологическими схемами, применимыми где угодно, а потому объявлявшимися обязательными и для нас. Кто не понял Европу, не поймет и Россию. Противоположные одно другому заблуждения относительно ее места в мире стали на верхах образованного общества исчезать лишь к началу нашего века. На его низах они держатся до наших дней.

Самобытность — нечто совершенно естественное и превосходное, поскольку не смешивают ее с квасным патритизмом и не называют единственно правильное « европейское » понимание ее « низкопоклонством перед Западом ». Одинаково несправедливо и неумно зачеркивать национальное своеобразие безличным интернационализмом и абсолютизировать его, называя « безродным космолитом » всякого, кто — по примеру Достоевского, кажется уж патриота и даже во многом шовиниста — склонен будет утверждать, что кроме России, у него есть и другая родина: Европа. В официальной идеологии Советского Союза эти два противоположных заблуждения парадоксальным образом сосуществуют — « рассудку вопреки, наперекор стихиям »; раньше этого, конечно, не было: заблуждались либо этак, либо так. Прежняя Россия такого сочетания беспрекословной подчиненности занесенным с Запада взглядам

с самохвальным осуждением этого самого Запада, унаследованным от вульгаризованного славянофильства, не знала, как не знает и не знало его и русское Зарубежье. Тут, в Зарубежье, евразийцам, пытавшимся даже и талантливо, но все же безуспешно выселить Россию из Европы, противопостояли последние интеллигенты старой формации, самобытности не признающей, и не понимающей его роли в европейском единстве. Один из них обвинял меня (упоминаю о себе, потому что это характерный пример) после выхода в свет моей книги « Задача России », в суеверном « мессианстве » и в противоречии самому себе. Как это я, прослывший западником, могу говорить о единственности России, о « ей одной преподанной вести », о ее миссии в отношении остальной Европы ? Но отчего же нет ? Быть Мессией — одно; обладать особым призванием — совсем другое. Давно пора понять, что Россия так же единственна в европейском целом, как Англия или Италия. Причем значение части для целого как раз и определяется ее несходством с другими его частями.

Оба заблуждения эти одинаково опровергаются всей нашей историей. Воссоединившись с Западом, Россия расцвела, и она вновь расцветет, только если снова — не как часть Западной Европы, а как часть Европы — с ним соединится. Как только произошло, в последней четверти прошлого века, пусть лишь частичное отчуждение от него, как только затуманилось для нас лицо Европы, тотчас постигла нас странная сонливость и повсюду стали замечаться уныние, застой, убыль духовных сил. Наши шестидесятники заклеили окно на Запад прокламациями и подметными листками, отказались от всего его богатства, ради горсти лозунгов, ничего не дававших мысли, но пригодных для борьбы. Как бы ни расценивать эту борьбу и всю их деятельность с других точек зрения, с точки зрения

культуры она была в высшей степени вредоносна. Недаром проявляли они столь крайнюю нетерпимость ко всем инакомыслящим и столь резкую вражду ко всему, что нельзя было поставить на службу политике (разумеется, *их* политике): к религии, философии, поэзии, искусству и даже к научному знанию, непригодному для пропаганды и не направленному на непосредственное удовлетворение практических нужд. Ближайшим образом все это привело (вместе с подавлением крамолы, столь же упростительным, как она сама) к провинциализации России, очень верно отраженной Чеховым; в конечном же счете послужило к образованию того умственного склада, который вскоре стал характерен уже не для верхних, и даже не для средних, а для низших слоев интеллигенции, что и позволило ему восторжествовать после Октября, когда полу-интеллигенты пришли к власти, а интеллигенция более высокого культурного уровня оказалась выгнанной или уничтоженной. В России началось снижение культуры, а потом и сдача ее на слом при Сталине, вместе с отчуждением от остальной Европы, достигшим размеров невиданных в после-петровские времена. Россия отходила от Запада. Нынешнее молодое поколение знает, что это значило. Самобытности она этим не приобретала. Наоборот, чем дальше отходила, тем становилась меньше похожей на себя.

*

«Всякая революция влечет за собой временное одичание», как писал в свое время Фридрих Шлегель. Одичание это длилось у нас исключительно долго, но вот уже лет десять, как наметился выход из него, как обозначился просвет, который то быстрей, то медленней, но все же расширяется с каждым годом. Молодое поколение новой интеллигенции в лучшей своей

части к этому просвету устремлено; оно правит свой путь по двум звездам, мысленно различимым, но на деле слившимся в одну; можно звать эту звезду « Европа », можно звать ее « Россия », большой разницы при этом не получится. Именно в стране, которая была бы Европой, будучи вместе с тем Россией, этим русским молодым людям и хотелось бы отныне жить. Глядят ли они на Запад, вспоминают ли о том, о чем так долго воспрещалось вспоминать, они ищут одного: утраченной родины, не телесной, но духовной.

Родина, это не территория плюс народонаселение, и даже не просто семья и родной дом. Кошки привыкают к дому, собаки к людям, и привязанности человека, вырастающие из этих животных привязанностей, святы, нужны и неотъемлемы от его человеческого естества. Но все же родину любит он не одной собачьей или кошачьей любовью. Облик ее, живущий в его душе, к одним ощущениям не сводим, так что способен и вовсе обойтись без запаха березового листа и вкуса гречневой каши. Россия, это духовное, умопостигаемое целое, меняющееся во времени, да и окрашенное для каждого слегка по иному, но все же очерченное с достаточной ясностью и пребывающее не в прошлом только, но и в связи будущего с прошлым. Одичанье исказило образ России именно тем, что затемнило и ослабило эту связь. Усилия нового поколения как раз направлены — ясно ли или смутно оно это сознает — к восстановлению этой связи.

Связь требуется восстановить, как это все, по-видимому, и чувствуют, прежде всего с самым недавним прошлым, с двадцатыми годами, когда мысль и воображение не совсем еще были вытравлены у нас, хоть и притеснялись все усердней с каждым годом, а затем и с дореволюционным началом века, положившим конец провинциализму предшествовавших лет. Восстановление преемственности невозможно без пе-

ресмотра тех нелепых оценок, которыми так долго заграждался путь к этому близкому нашему прошлому, без тщательного ознакомления с тем, что было им сделано, как и с тем, что было сделано в русском Зарубежьи, по мере сил продолжавшим его. Запрет нынче снят лишь с очень малой доли этого наследства, но раскрепощение памяти, хоть и робко, все же началось. Смысл его, всякий это понимает, не в возврате к тому, что было. Преемственность не состоит в повторении пройденного. Искать надо в прошлом не образцов для подражанья и не мыслей, с которыми заранее согласен, а « пищи для ума », и тут, в нашем и недавнем, легче ее будет найти, чем где бы то ни было. Через это близкое ведет путь и к пониманию более далекого. Преемственность восстановима только в выборе, в борьбе, только путем усвоения одного и отбрасыванья другого. Нельзя утвердить ее, продлить, передать будущему, не прибавив к старому ничего нового. Но чтобы прибавить, надо знать, к чему прибавлять.

Россия должна заново осознать себя Европой и Россией, стать Европой и Россией. Это и будет для всех русских, где бы они ни жили, где бы ни умерли они, возвращением на родину.

НАСЛЕДИЕ РОССИИ

Россия была. Взгляните на карту: нет на ней больше такой страны — Россия. Если же кому все равно, называть свою родину ее именем или нет, то и столь суконное равнодушие к слову еще не даст ему права утверждать, что произрастает на этих четырьмя буквами объярлыченных просторах неоскудевшее и неискаженное продолжение того, что на них произрастало в былые времена. Не о государстве мы говорим или « общественном строе », и не о русском житье-бытье : называлось Россией и другое, главное. Когда скажешь « Франция », подумаешь прежде всего не о трех династиях, двух империях, пяти республиках, и не о нравах и модах, не о феодализме или « классовой борьбе », а о том, что означает Франция для Европы и для мира. Так и Россия. О том особом мы думаем, что она значит для нас и не для нас (а не о том, что значит любая земля, для того, кто ею рожден и выкормлен). О том, чего нет у других, и что, будучи личным, достойным имени, как раз и не терпит ярлыка. О России, которую осязаем душой, когда видим, слышим, читаем созданное ею. Эта Россия была. Осталось ее наследие.

РАЗРЫВ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

...как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.

Лесков.

Наследство получают от тех, кого больше нет. Но чередование рождений и смертей, образующее историю, совершается непрерывно, и само по себе никаких едино-

временных передач общего достояния ото всех отцов ко всем сыновьям не предполагает. Если мы говорим о наследии России, то лишь потому, что ощущаем перерыв, — не в совокупности ее духовного бытия, но во всем или в очень многом из того, что ему дает своеобразие, что составляет лицо России. Сюда не входят математические и строго-экспериментальные науки, науки, управляющие техникой или (на естествознании основанной) практикой (врачебной например). О них мы не скажем ничего. Во-первых потому, что никакого перерыва тут не произошло, а во-вторых потому, что вся эта область духовной жизни рассудочна (построена на точно доказуемых данных) и тем самым универсальна; ничего свойственного одной России в ней нет и не может быть. (Русские физики или медики могут являть в своей научной деятельности национальные черты, но не сама названная по ним и по их стране « русской », физика или медицина). Речь у нас не об этом, а о самом русском в России, о языке, литературе, искусстве, и не столько даже о них самих, сколько о мысли, которая их питала, которой Россия жила, и которая, с разной степенью силы, выражалась также и во всех тех науках, где вычисление или эксперимент могут играть лишь второстепенную роль. Здесь разрыв и произошел. Здесь и была нарушена преемственность.

Преемственность — непреложный закон истории; вернее сказать, самого человеческого бытия. Первый показатель этого — язык, который не выдумывается заново каждым новым поколеньем (оттого что выдуман быть не может: дитя, рожденное глухим, остается тем самым и немым), не передается сам собой путем биологической наследственности, а усваивается через преподаванье, материнское большей частью, то есть именно не передается, а преподается, — старшим поколением младшему. Преподавание и есть основа всякого предания, а основа всякого преподавания есть пере-

дача языка. Тем более, что ведь при передаче слов передаются не одни их звуки, но и смыслы, а тем самым и образ мира, в этих смыслах заключенный, ими отраженный. Не будь у нас этих смыслов, мы не были бы людьми.

Всякую преемственность можно представлять себе по образцу передачи языка; можно, да и должно, так как это помешает нам представлять ее себе слишком упрощенно. Она не есть простое продолжение, продление. Русские говорят по-русски не совсем так, как говорили их деды и даже отцы. С каждым поколением меняется устный язык; письменный более устойчив. Но и продольные сечения обнаруживают различия не слабее поперечных. Люди одного поколения не все говорят одинаково, и не все обладают тем же запасом слов. Спокон веку детям пекарей знакомы многие слова и речения незнакомые детям мясников, и наоборот. Такие вариации бесчисленны, — но и очень различны по значению. Преемственность не являет собой чего то сплошного, однородного; она состоит из множества не без труда уживающихся между собой традиций или преданий; и не исключает она обновлений и перемен, а напротив требует их, ими живет. Она предполагает усвоение новым поколением того, что ему передается, а значит и обновление, хотя бы частичное, переданного; но предполагает она все же и непрерывность этой передачи; непрерывное наследование меняющегося наследия.

Вещественное наследство переходит к сыну после смерти отца. Духовное наследство переходит к новому поколению еще при жизни двух или трех предыдущих поколений. Передача совершается беспрерывно, хоть и неравномерно, и не на одних прямых путях, но и на обходных, сплошь и рядом, например, от дедов к внукам, минуя отцов, а то и от прадедов к правнукам. Каждое поколение оценивает полученное по-новому, и

принимает лишь часть того, что ему передается; но то, чего не принял сын, примет, может быть, внук; то, чем многие поколения пренебрегали, что казалось забытым навсегда, все таки порою воскресает, вновь оказывается нужным и становится любимым. Овеществленное духовное наследство хранится в библиотеках, архивах, музеях, и помимо них в том, что зовется памятниками искусства и старины, но ни для кого все хранимое одновременно и полностью не оживает, и ожившая его часть — не та же самая для каждого поколения, как и (но при другом объеме и характере несходства) для отдельных лиц внутри поколения, к которому они принадлежат.

Так бывает при « нормальном », т.е. более обычном ходе истории. Но когда возникает перебой, когда преемственность сколько-нибудь резко прерывается, тогда и передача наследства или значительных частей его ставится под вопрос. Полного разрыва европейская история не знает. Самым серьезным был тот, что отделил от древнего мира западное средневековье и византийско-славянский мир. Непрерывность передачи от поколения к поколению в очень многих областях духовной жизни им была нарушена, и преемственность удалось восстановить лишь многовековой работой, задним числом, и мысленно, не жизненно: древних греков и римлян больше не существует. В дальнейшем, такой разрыв не повторился. Даже петербургский период нашей русской истории *таким* разрывом от московского не отделен, а в прошлом западных народов нет ни одного перелома по резкости сравнимого с революцией, произведенной Петром. Французская революция отнюдь не обозначила, в духовной жизни Франции, столь решительного конца и нового начала.

« У нас — говорит рассказчик в « Запечатленном ангеле » Лескова — с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто

и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела». Сказано это было хорошо, но слишком сильно; подошло бы лучше для нынешних времен. Нельзя, однако, отрицать, что разрыв связи, произведенный Петром, продолжал (все слабее, правда) сказываться и чувствоваться целых двести лет, вплоть до нового разрыва, — еще более крутого, символом которого, наряду с переименованием Петербурга и перенесением столицы назад в Москву, следует считать переименование самой России, деяние вовсе необычное. Символам этим соответствует и действительность последних пятидесяти лет, хоть и надлежит сразу же упомянуть, что насильственное набивание мозгов невероятно узкой, плоской и деспотической идеологией не привело — хоть и могло привести — к разрыву совсем уж безоглядному, или даже к полному отказу от наследства, вроде того, который нынче, на основе той же идеологии, намечается в Китае. Тем не менее преемственность оказалась прерванной еще грубее, чем при Петре, а главное без всякой компенсации варварства остротой смекалки. Налегли на весла, отточили топоры, но рулевому мешала ненависть ко всему тому необъятному, что звал он « поповщиной », как и наивная вера в ту « поповщину », которую он почерпнул из толстой немецкой книги вышедшей сто лет тому назад. Окно прорубленное Петром в ту самую сторону, куда необходимо было его прорубить, оказалось заколоченным надолго, и обухами тех же топоров забили наглухо дверь, ведущую ко многому из самого русского и самого ценного в нашем прошлом. О том, что лезвиями их делали, лучше умолчим. На эсэсэсэрском языке это до сих пор зовется « гуманизмом ».

Заколачиванье окон и дверей может производиться разным способом. Речь идет о духовном наследстве России, (но европейской России, а тем самым и Европы). В его передаче нужно различать три момента, —

три условия, при отсутствии которых передачи этой нет или она крайне затруднена. Во-первых, сохранность того, в чем наследство овеществлено; во-вторых, доступность этих « вещей », книг, например, или картин, и еще многого другого; в третьих, свобода выбора и свобода усвоения, после того как картина увидена или книга прочтена, и то, что было вещью, становится нашим духовным достоянием. Эти три ступени можно пояснить примером от обратного: передачи не произойдет, если картина сожжена, если не разрешают ее видеть, если покажут нам ее в таком освещении, окружении или при такой обработке нашего сознания, которые сделают невозможным полное и беспристрастное восприятие ее. Представим себе, что партитура Скрябинского « Прометея » была утрачена или что оркестрам раз навсегда воспрещено было ее исполнять. В обоих случаях мы лишились бы этой частицы нашего музыкального наследства. Но не унаследовал бы ее и тот, кто единственный раз слышал « Прометея » в совершенно неприемлемом фальшивом исполнении, а то и в исполнении корректном, но предназначенном служить подтверждением ретивой пропаганды насчет « декадентской уродливости » этого произведения. Отдельные слушатели быть может и не поверили бы пропаганде; но их было бы очень мало, если бы пропаганда велась годами в государственном масштабе. Когда при Гитлере была устроена выставка изъятых из музеев произведений « выродившегося искусства », посетители выставки, за немногими исключениями, послушно их высмеивали, и от этой части своего немецкого (или общеевропейского) наследства — картины затем увезли для распродажи в Швейцарию — с легким сердцем отреклись.

К заграничным или вымышленным примерам нам, однако, вовсе и незачем прибегать. На недавнюю выставку акварелей в Третьяковской галлерее попали из

ее недоступных публике запасов две акварели Шагала. Их тотчас велено было убрать и вернуть туда, где хранятся другие произведения того же мастера и многих других мастеров, знакомство с которыми не разрешается начальством. Лучше, конечно, картины прятать, чем сжигать, как это тоже делалось при Гитлере; лучше, также, чем сжигать, продавать их заграницу (как были проданы при Сталине две трети лучших холстов Эрмитажа) или обменивать иконы (не очень старинные и замечательные, но иконы) на итальянские пиджаки, как это делал, даже по сошествии с престола, один из преемников торговца Тицианами и Рафаэлями. Но если уж стать на точку зрения начальства, недовольного « поповщиной », то следует признать, что всего проще и верней избавляет нас от наследства его матерьяльное уничтожение; то самое, которому подверглись у нас четыре сотни, старинных большей частью, церковных зданий, в одной Москве, и около девяноста процентов всего нашего девятьсотлетнего церковного и монастырского зодчества. Подсчеты эти произведены не нами здесь, а русскими — к чести их будь это сказано — все еще русскими людьми, в России. Не начальственными, о нет ! Эти продолжают помнить о том, как весело горят иконы да церкви, особенно деревянные. Свезли в Кижи полдюжины безиконных церквей, чтобы от других через год головешки не осталось, и воспитанников своих сворой туда пустили, как и на Соловки, где один такой прошедший учебу малый из ружья стал палить в колокола: пусть, мол, звенят, если звонить им на Руси не велено, а другие — надписи выцарапывать, фрески соскабливать, рамы высаживать, окна вышибать. Щусев, говорят, на коленях молил, в свое время, пощадить Симонов монастырь. Ишь, что вздумал; да пропади он пропадом. Чего же лучшего вся эта поповская рухлядь и заслужила ?

Знаем, знаем, путеводители публикуют, и прехорошенькие. Второе издание Владимиро-Суздальского в Финляндии напечатали (в СССР за пятьдесят лет не совсем еще научились): любо-дорого смотреть. Для Интуриста старались; недаром слух о том пошел, что некий, нарицательный вероятно, Ротшильд, посетив Суздаль, воскликнул: « Дайте мне этот город, хоть на два года, и я в два года удвою состояние ». Думаем, что удвоил бы он капитал за второй год, если бы первый употребил на необходимые работы. Путеводитель помечен 65-ым годом, составлен превосходным знатоком, но насчет плачевной судьбы Рождественского собора там не сказано ни слова, тогда как в том же году и в « Огоньке », и в « Литературной газете » появились статьи, где сообщается, что решетки в соборе заржавели, окна выбиты, всё покрыто толстым слоем пыли, и что росписи его приближаются к полной гибели. Хорошо, что статьи эти — русских, не по фамилиям одним, авторов — были написаны и даже напечатаны. Хочется авторам этим, чтобы храм не погиб; да и чужеземный богатей произвел бы несомненно починки, хотя бы для того, чтобы « удвоить состояние ». Но начальственные лица богатеют и без починок, а духом к тому ж обитают или понуждаются обитать не в России, а в Союзе Республик, которому, по замыслу его, по намерению этого замысла, советы и социализм (как они его понимают) — дело, а Россия ли или Патагония, всё одно.

Итак, сомнения нет: жечь, разрушать, давать разрушаться всего проще. Но почему то сжигать книги — или, скажем, картины — считается неприличным, более неприличным, чем уничтожать церкви или монастыри. Да и всякому ясно, что костры такого рода излишни: чтобы лишить людей наследства, совершенно достаточно воспрещение доступа к нему. Такие запреты существовали у нас и раньше, но в размерах ничтож-

ных, сравнительно с положением вещей, установленным Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Нынче они практикуются немножко менее резво, но « в основном » (как пишут через каждые две строчки сыны этой Революции) « являются » (как привыкли говорить они же) неотмененными по сей день. За полвека не была переиздана ни одна книга дореволюционных наших мыслителей; издавались или переиздавались только такие мнимо-философские или около-философские книги, авторов которых никто на свете мыслителями не считает. Владимир Соловьев ? Самое это имя встречается разве что — с ярлыком, вроде бубнового туза на спине — в энциклопедиях и лжеисторических обзорах, да еще в комментариях к произведениям Блока и весьма неохотно издаваемого Андрея Белого. Федоров, Бухарев, Страхов, Несмелов, оба Трубецких, Флоренский, Лопатин ?— Запретные имена. Чаадаев, Хомяков, Самарин, Леонтьев, Розанов ? — Слыхали (а то и не слыхали). Не знаем. Читать не велено. Были тома « Литературного наследства », куда попали Леонтьев и Чаадаев, но это их еще в настоящее наследство не включает. Где книги Гершензона о том же Чаадаеве, о Печерине, где другие превосходные его книги (да и без « является » написанные) ; где книги всех перечисленных отнюдь не олухов, как признавали всегда (« в основном ») и злейшие их враги ? Знаем, не сожжены. Во множестве экземпляров своевременно отправлены « Международной книгой » заграницу; остальное бдительно хранится в библиотеках, бдительно в том смысле, что для чтения выдается лишь благонадежным, строго проверенным читателям. Все это приобщено к опечатанной части имущества; доступно лишь тем, кто обязался в *это* наследство не вступать.

В 1922 году, по велению дикарей, чего то устыдившихся или пресыщенных людоедством, было выслано заграницу сто с лишним выдающихся русских

мыслителей, ученых и писателей, — интеллигентишек этаких, вроде Булгакова, Бердяева, Лосского, Франка, Вышеславцева, Ремизова, Муратова, от которых всего можно было ожидать, кроме рукоплесканий Дзержинским да Меньжинским, или (в другом плане) виршам Демьяна Бедного. Все написанное ими после высылки, как и все напечатанное до нее присоединилось все к тому же золотому запасу, объявленному оловянным, но так или иначе не поступающему в обращение. Его полный инвентарь любопытно было бы опубликовать. Дискриминации подверглась вся наша прежняя литература, что отнюдь не мешает всю ее ежедневно провозглашать самой, что ни на есть « нашей », родной, несравненной и драгоценной. Даже Достоевского долгое время не издавали; « Бесов » вне полного собрания сочинений не печатают и теперь. « Дневник писателя » только еще обещают напечатать в предстоящем « полном собрании », вдали от « масс ». А отдельно ? Достаньте-ка « Исповедь » Толстого ! Думаю, что в отдельном издании и « Смерть Ивана Ильича » достать будет трудновато. Не знаю, как нынче, но еще недавно тексты наших столь прославляемых классиков подвергались, к тому же и чистке: фальсификации путем пропусков. Приведу лишь один пример. Всем известно, что актеров и актрис лучше наших, советских, или хотя бы и русских, никогда и нигде на свете не было. Поэтому, если Чехов забылся в телячьем восторге и написал из Парижа, что таких актрис, как Сара Бернар, у нас нет, фразу эту необходимо из письма его вычеркнуть, — что и было сделано в наиполнейшем издании его сочинений и писем. (Это и другое в том же роде, путем сличений выяснил Г. П. Струве).

Обычный способ лишения наследства путем фальсификации его заключается, однако, не в пропусках, а в пояснениях. Для этого служат предисловия и примечания, где наряду с полезными сведениями и дельными

мыслями, а также святоотеческими цитатами (из «классиков марксизма») и переводом иностранных слов (вплоть до «мерси» или «пардон»), даются порой и вовсе неуклюжие перетолкования публикуемых текстов на желательный для начальства лад. Пушкина тридцатых годов полагается изображать таким же единомышленником Рылеева и Пестеля, каким он (до некоторой степени) был лет за десять или пятнадцать до того; задача нелегкая, но от посильного выполнения которой не избавлялись до сих пор даже исследователи столь одаренные и, в пределах дозволенного, добросовестные, как покойный Томашевский. Без передержек или, в лучшем случае, замалчиваний такое перекрашиванье обойтись не может, но неискушенный читатель редко бывает способен их заметить, и пушкинское свое наследство получает лишь отчасти в червонцах, отчасти же в ассигнациях, подправленных красным карандашом. Также и толстовское. Толстой был под старость проповедником внецерковной религиозной морали, но по мнению величайшего и даже единственного вероучителя нынешней России, того, чьим мощам поклоняются у стен Кремля, проповедь эта — такая же «поповщина» (хоть и без попов), как православный катехизис или философия всех, кроме некоторых антифилософских, философов. Надлежит поэтому религиозную, или хотя бы лишь нравственную, эту проповедь изображать социально и политически революционной, то есть выворачивать ее наизнанку: производное и второстепенное делать в ней главным, главное же — второстепенным, а то и вовсе незаслуживающим внимания. Этим и занимаются, по команде, как ничтожные писаки, так и превосходные ученые, вроде покойного Эйхенбаума, которого заставили таки на склоне лет прикладываться к мощам и ссылаться, в истолковании Толстого, на священнейшее из писаний. Те же, кто по части учености остались на задворках, даже и в

« Крейцеровой сонате » (добро бы в « Воскресении ») находят « социально-обличительный пафос » (см. Собрание сочинений, т. 12 (1953), стр. 304). — Нет вообще ни одного нашего крупного писателя, которого не пытались бы приспособить для приготовительного класса партийно-приходских школ, и набальзамировать так, чтобы тем же благоуханием он благоухал, каким благоухает мавзолей на Красной площади.

Кроме уничтожения, сокрытия и порчи наследства, существует наконец и еще один способ передачу его затруднить и сделать ее, с точки зрения начальства, менее опасной. Казалось бы изъятие из обихода стольких досоветских авторов должно было бы наше литературное наследство сильно обеднить. Так оно и есть; но в отношении качества, отнюдь не количества. « Классиков » у нас теперь куда больше, чем прежде, — причем я имею в виду не тех, что от марксизма (их стало меньше на один номер), а всевозможных « направленцев », писавших, хоть и кое-как, но по-русски, и причисляемых к « революционным демократам » (или демократическим революционерам). Очень серые сочинения образуют почтенного вида многотомные собрания сочинений. Герцен, Тургенев — прекрасно; а Глеб Успенский, ишь ты сколько написал ! Златовратский, Решетников, это и в самом деле наша « великая русская литература » ? Такое заваливанье хорошего плохим, или никаким, практикуется всего усердней в области стихотворной, где запретов не много, кроме как в отношении начала нашего столетия (да и тут, как будто, Сологуба, Гиппиус, Кузмина, Гумилева, Ходасевича, Волошина собираются читателю всех в одной миске и каждого по столовой ложке, выдать к празднику). Выдадут ли еще ? Неизвестно. Запретов не много, но зато в антологиях и в « Библиотеке поэта » на одну доску поставлены Михайлов и Тютчев, Якубович-Мельшин и Фет, а только что названные пять или

шесть поэтов займут все вместе, да еще кажется с Бальмонтом и Вячеславом Ивановым, в « Библиотеке » этой один том, потоньше, боюсь, чем тот, что в ней занял единолично Курочкин. Конечно, оценка отдельных писателей или поэтов переменчива, и споры о ней, в некоторых границах всегда возможны. Но изменение вкусов, чередование литературных школ — одно; навязыванье литературе (и чему бы то ни было) неподвижной идеологией выработанных мерил — совсем другое. В том то и беда, что наследство, даже и неспрятанное, мертвеет, когда у новых поколений отнимают право выбирать в нем то, что им нужно, и это выбранное оценивать по-новому.

Такую работу совершают не историки литературы, а писатели и критики; в России не совершает ее никто. Исследователи нашего прошлого, и не одного литературного, работают весьма успешно, — не только по розыску материалов и публикации их, но и по их истолкованию и даже критической оценке, поскольку дело касается времен отдаленных, особенно литературы и искусства древней Руси. Но в отношении наиболее нам близкой литературы последних двух веков все оценки либо остались на старых своих местах, там же, где были в 1925-ом, скажем, году, либо изменились по требованию не жизни, и не живой мысли, а остановившейся, законсервированной мысли: идеологии. Эти изменения дальше не меняются, да и совсем другое значат; живых не могут заменить. Историки же о неодинаковом качестве икон Рублева (или его школы) рассуждают охотно и толково, но сказать, что такое то стихотворение Пушкина далеко не так совершенно, как другое, отказываются наотрез. Предположим, что это не их дело, как теперь многие думают (без достаточных оснований) и на Западе; но не делает этого дела, у нас, и никто другой. Никто не решается даже и подтвердить или опровергнуть отзыв Толстого о

« Воскресении » (которого он и романом не считал): « Все неверно, выдумано, слабо » (Дневник, 5 января 1897), или, через три года (18 декабря 1899): « Нехорошо. Не поправлено. Поспешно ». Никто не осмеливается — но это уже из прямой боязни нагоняя — заново развенчать давно развенчанных Верещагиных и Шишкиных, заявить во всеуслышанье, что Репин хуже Серова, или — не дай Бог — что Передвижники ни одного мастера не дали, который хоть издали мог бы сравниться с Мане, Ренуаром или Дега. В результате всего этого, наследие наше, даже и в доступной и плакатами не сплошь залепленной своей части, остается неунаследованным, неучтенным даже, по-настоящему. Его изучают, но не обсуждают; восхваляют огулом, без проверки, заранее готовой шовинистической хвалой. Если спорят (о Достоевском, например), то эти споры в основе своей искривлены, прежде всего идеологией, ни для кого не питательной, но обязательной для всех, а затем и славой имени, которая мешает видеть ребячливость подростка-Лермонтова, слабость очень многого у Некрасова, или понять, что Достоевский становится подлинно великим, величайшим нашим писателем, рядом с Толстым, лишь начиная с « Записок из мертвого дома ».

*

Есть Россия, куда нынешней России заказаны пути; да и та, куда ей путь открыт, задернута туманною завесой. Редеет этот туман за последние десять лет, приоткрываются даже и запретные дороги, но медленно, очень медленно. Охранники продолжают накладывать печати, мешать общению с Западом и знакомству с русским зарубежьем, идущим теперь на убыль, но где преемственность, в течении полувека, оставалась, если и обуженной, то не нарушенной, и к

повторению пройденного не свелась. Работают, однако, гасители куда менее уверенно, чем прежде. И доверие к ним подорвано. Они выбирают за Россию. Может быть Россия совсем и не то выберет, что они от нее прячут, но она хочет выбирать сама. Люди ее молодого поколения, поскольку они мыслят, поскольку удается им мыслить, вопреки вызубренным из под палки мнимым истинам, никаких заслонов не одобряют, и преемственность всеми силами стремятся восстановить, отлично чувствуя, что это одновременно европейская и русская преемственность. Но есть кроме домашних препон, кроме идеологического мракобесия, еще и другое огромное препятствие на их пути, которое лишь немногие из них отчетливо различают.

Повсюду в мире, и в Советском Союзе, как везде, воцаряется все решительнее с каждым годом та научно-техническая цивилизация, которая хоть и выросла из прежней европейской цивилизации-культуры, но все ясней отделяется и отрекается от нее, преемственной связи с ней не отрицая, но истолковывая эту связь по образцу прогресса науки и техники. Были, мол, Данты и Шекспиры, но ведь не на телеге я поеду на луну; на что мне самострелы и пищали при термо-ядерных моих подвигах ? Так думают многие и в нынешней России, среди технократических, как и политических ее хозяев, причем эти последние не понимают, что идеология их, с точки зрения науки, порождающей всю эту технику, не то чтобы ложна, а попросту бессмысленна, как бессмысленно все, что недоказуемо вычислением или экспериментом, кроме, разумеется, хорошо засвидетельствованных фактов, которые, однако, лишь потому не бессмысленны, что нет никакого смысла говорить о их смысле. Науку и технику устранить нельзя; нужное им мышление рано или поздно идеологию отметет как заведомую чепуху (для него, девять десятых « Капитала » т.е. всё кроме фактов,

такая же «поповщина» как девять десятых Библии); но *жить* этой технико-научной мыслью не может человек, не превратившись в электронную машину. Противопоставить же этой мысли нечто не сплошь рассудочное, но разумное, высокое, достойное человека и необходимое ему, если он хочет остаться человеком, возможно только на пути восстановления преемственности. Общеевропейской, греко-христианской преемственности, но для русских, конечно, в русском истолковании ее и облике. Да быть может и для многих других то, в чем уже видят порой и они самое сокровенное сокровище России, послужит исцелением от горчайших нынешних отрав. Если только мы сами найдем дорогу к нему. Если мы его поймем и к нему вернемся...

Не легко изъяснить, в чем оно состоит. Почувствовать легче. Есть слова, которые могут к этому чувству, и пожалуй не к одному лишь чувству, привести. Попробуем вслушаться в них.

И ПОЛНЫЕ СВЯТЫНИ СЛОВЕСА

> ...греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов поругана.
>
> Пушкин.

Нет ничего банальнее, чем суждения о прежней нашей литературе, существо ее усматривающие в проповедываньи гуманности, человечности, любви к ближнему, сострадания к нему. Одинаково банальны они — и притом издавна — и на Западе, и у нас; только повторяют их на Западе реже, потому что боятся банальности сильней. До того боятся, что не различают банального от ложного, и если не видят возможности банальность опровергнуть, хранят на ее счет самолюбивое молчание. Такое правило поведения к истине, однако, не ведет, и считать его обще-обязательным было бы малодушно. Да и не может быть *нам* все

равно, верны ли те суждения или нет. Разумнее будет присмотреться к ним поближе.

Литература, конечно, не проповедь, хотя проповедь из литературы не исключена, и хотя нередко, именно у нас, литература в проповедь переходила. Но незачем и утверждать, что для русской литературы характерно проповедыванье чего бы то ни было. Достаточно указать на черту, которую мы в сердце, в глубине ее, да и многого другого русского находим, — даже и там, или по преимуществу там, где она вовсе не становится предметом нарочитых поздравлений или нравоучений. И потом — какая же это, собственно черта ? Не без намеренья привел я четыре разных ее имени. Которое из них ее именует всего точней ?

« Гуманность » и « человечность », по буквальному смыслу этих слов, должны и могут значить то же самое. Но « гуманность » отвлеченней и прохладней, по той же причине, по которой « филантроп » холодней и отвлеченней, чем « человеколюбец ». Еще холоднее « гуманности » — « гуманизм », оттого что и самый суффикс этого слова иностранный. Вот почему постоянное применение его в нынешней России, вместо « гуманности » или « человечности » не только создает безобразную путаницу с другим его смыслом (тем, который например Блок ему придавал, когда писал о « Кризисе гуманизма »), но и внушает мысль о подмене человечности чем то весьма отдаленно на нее похожим. Однако и сама « человечность » — слово, хоть и безупречное, но слишком расплывчатое и для разговора о своеобразии чего бы то ни было мало пригодное. Недостаточно прочно прикрепляется оно к своему более узкому смыслу « любовь к человеку », а если бы и прикрепилось, этого было бы мало, так как оставалось бы неясным, обращена ли любовь эта к живому, « вот этому » человеку или к человеку « вообще », предмету науки о народонаселении и о раз-

множении человеческого рода. Другое дело « любовь к ближнему ». В евангельской заповеди о ней отчетливо имеется в виду любовь — и конечно праведная, бескорыстная любовь — к людям, с которыми соприкасаемся мы в жизни; не к одним тем, кого зовем мы близкими, но разумеется и к ним; и притом деятельная, в поступках воплощенная, жертвенная, если нужно, любовь. Евангелие же, однако, и выделяет в этой любви первенствующую, самую необходимую: любовь к « страждущим и обремененным ». Она зовется состраданием. На этом слове, если мы о наследии русской литературы, о наследии России помышляем, нам и следует прежде всего остановиться.

Не то чтобы оно было одним из тех непереводимых слов, какими богат наш язык, — вроде как « простор », например, или « подвох ». Будь оно таким, оно вряд ли могло бы нечто очень важное обозначать в составе наследия, открытого всему миру. Оно само — перевод или, как выражаются лингвисты, словообразовательная калька того греческого слова « симпатия », которое и в переводах, и в оригинале перешло едва ли не во все европейские языки, как раз в переводах сохраняя (хоть и не всегда: немецкое Mitleid значит не более, чем « жалость ») силу и глубину; тогда как «симпатия» повсюду означает нечто более поверхностное, разжиженное. Быть может для русских и характерна привычка делить людей на симпатичных и несимпатичных, и чаще других европейцев к таким оценкам прибегать; но как бы то ни было, « страдание » из « симпатии » выветрилось. Зато в слове « сострадание » оно сохранилось, и притом яснее в этом русском, чем во всех западных переводах, зависимых от латыни. Позднелатинское passio, перейдя в новые языки, стало значить « страсть » хоть и возникло для обозначения страданий Спасителя, « страстей Христовых », к которым сострадание, в обще-христианском первоначальном по-

нимании своем, именно и обращено. Сострадание к человеку проистекает из сострадания к Богочеловеку; оно и в человеке сострадает тому высокому, божескому, что страдает в нем. Этим и положено основание его отличию от жалости. Жалость может сочетаться с презрением, сострадание не может. Сострадание требует, жалость не требует любви.

Итак, не гуманность, не человечность, даже и не просто любовь к людям, а в сострадание вложенная любовь... Пусть так, но разве далеко мы ушли этим путем от банальности, в которой намеревались разобраться ? Разве не говорилось уже давным давно, в первой же серьезной французской книге, посвященной русской литературе — « Русский роман » Мельхиора де Вогюэ (1886) — о « религии страдания », у Достоевского прежде всего, но характерной, по мнению автора, и вообще для русских писателей его века. Да и кроме того, религия страдания, или сострадания, что конечно то же самое, это ведь просто-на-просто христианство, а если так, то почему же мы надеемся вывести отсюда нечто особливо русское, в наследии России живущее, светящееся как бы сквозь него ? Что ж, за оригинальностью мы не гонимся, примыкаем к традиции; к ней и Вогюэ, в свое время, через русские чтения и русских друзей своих примкнул; думаем только, что в преподанном ею необходимо выделить исконное ядро, уже тогда затуманенное, а в наши дни и совсем растворившееся в чем то сомнительном и зыбком. Если удастся это, то и выяснится, быть может, что Россия прошлого века сохранила и впрямь нечто уже исчезавшее « на древнем Западе, стране святых чудес ». Сколько было сказано лишнего на эту тему, неверного, да и невежественного, шапками-закидательного, квасного ! А все таки, может быть, крупица правды в этом и была.

Один из русских осведомителей Вогюэ, старый литератор (Григорович, вероятно) сказал ему: « Все

мы вышли из гоголевской Шинели ». Очень это понравилось; повторялось другими, как и самим Вогюэ (на открытии памятника Гоголю) ; но правильней было бы, в этой « сострадательной » связи, ссылаться не на « Шинель », а на « Станционного смотрителя ». « Вникнем во все это хорошенько — говорит Иван Петрович Белкин — и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием ». Имеет он в виду незавидную смотрительскую службу вообще, но подходят его слова и к содержанию рассказа. Недаром Макар Алексеевич Девушкин, в « Бедных людях », с таким восторгом читает этот рассказ, и так отрицательно отзывается о « Шинели », — где есть одна единственная, да и то скорей « гуманная », чем жалостливая тирада, но где всем остальным о Башмачкине сказанным посажен мелкий жучок под стекло и проколот энтомологической булавкой. Никаких тирад у Пушкина нет, и никакой нарочитости, ни здесь, ни в похвале Ломоносову за то, что был он « деятельно сострадателен », ни в срединных строчках стихотворения « Румяный критик мой . . . », где все лучшее у столь нарочитого Некрасова предвосхищено; да и не изобретал он ничего нового, когда — весьма часто, в тридцатых годах — чувствовал так, и писал; но все таки именно у него, в эти годы, прорывается всего непосредственней, проще, и всего действенней тем самым, вот это, грустное и доброе, « сердобольное », чему вполне точного имени нет, но что знакомо было уже и древней Руси, и не из язычества, конечно, выросло. Как это очень русское ни описывай, ни определяй, оно все таки лишь особый оттенок обще-христианского завета, выражаемого словами « сострадание » и « милосердие ».

*

Второе это слово было Пушкину едва ли не еще дороже. « Милосердие ». По буквальному смыслу того,

не греческого, на этот раз, а латинского, но опять-таки позднего, церковно-латинского слова, которому оно служит переводом, оно могло бы значить то же, что и « сострадание ». Misericordia, это обращенность сердца к бедным и несчастным. Словарное определение соответственного французского слова гласит: « Чувство, при посредстве которого чужая беда (misère) трогает наше сердце ». В немецкой кальке, Barmherzigkeit, первый слог точно также говорит о бедности или беде (начальная согласная к его смыслу отношения не имеет). Но не из классической и не из бытовой латыни это слово идет; не сострадание человека имеет первоначально в виду, но сострадание Бога, в ответ на молитву (как в пятидесятом псалме: « Miserere. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей »); сострадание, обращенное не просто к страждущему, но к виновному, кающемуся, грешному человеку (в псалме о прощении молит тяжело согрешивший царь Давид). Вследствие этого, понятие милосердия содержит две к состраданию прибавленные черты: это сострадание « милостивое », прощающее, обращенное к тому или тем, кто прощения ищет или не ища нуждается в нем, и это сострадание, не только деятельное, но и наделенное могуществом, — силою простить, силою помочь. Милосердие есть высокая жалость и милость к « падшим ». Так именно, в работе над стихами, где подводил он итог своему жизненному делу, Пушкин это слово в полном его смысле и раскрыл.

В четвертой строфе этого стихотворения, точнейшим образом следуя не мыслям, но ходу мыслей в « Памятнике » Державина, он перечисляет свои заслуги, и высшую называет последней (кроме плана, сохранил он количество строф и размер, с той лишь разницей, что укоротил на две стопы последний стих каждого четверостишия). Державин высшее свое полагал в том, чтобы « истину царям с улыбкой говорить »;

Пушкин в том, что призывал (царей или царя, это осталось, однако, невысказанным) к милосердию. Он написал было « И милосердие воспел », но потом себя исправил. Не просто ведь он милосердие воспел или воспевал, не просто « восславил » его, как « восславил » он « свободу »: он именно к нему призывал (не раз и не два), он « милость к падшим призывал ». « К падшим », это значит не отрицая их вины, что уже заключалось и в « милосердии », но теперь оказалось выраженным еще яснее. Напрасно подневольные комментаторы толкуют слово « падшие » так, как если бы оно приближалось здесь по значенью к « павшим в бореньи » или « на поле битвы » (см. Словарь языка Пушкина Академии Наук, т. III, стр. 281): на что же тогда борцам этим милость, достаточно было бы и жалости. Лучше бы вспомнили написанное тогда же переложение молитвы Ефрема Сирина,

> ... которую священник повторяет
> Во дни печальные Великого поста;
> Всех чаще мне она приходит на уста
> И *падшего* крепит неведомою силой

или — не для слова, а для сути дела — « Пир Петра Первого »:

> Нет ! Он с подданным мирится;
> Виноватому вину
> Отпуская веселится;
> Кружку пенит с ним одну;
> И в чело его целует,
> Светел сердцем и лицом;
> И прощенье торжествует
> Как победу над врагом.

Не было бы прощенья, если нечего было бы прощать. И милосердие, это не просто заповедь, противо-

положная той, о которой далее будет речь, « падающего еще толкни »; оно не падающего и не упавшего милует, а падшего. Оно — не сострадание только, но и отпущение вины.

Если о милосердии, однако, (в смысле милости к « падшим »), не всегда уместно говорить, если *себя* считать — или хотя бы желать — « милостивым » простому смертному и вовсе не подобает, то это не потому, что милость предполагает вину (для христианского сознания не существует « ближнего », который был бы вовсе невинен и безгрешен), а потому что ожидать милосердия мы можем от всех (хоть и от них одних), кто в силах его оказать, но милость лишь от тех, кто поставлен или кого мы сами ставим выше нас самих. У кого нет права — или хотя бы лишь власти — казнить, у того и возможности нет миловать, тому остается лишь милость *призывать*, а в себе искать жалости, прощения, сострадания, любви. Этому и учит учение, которому и теперь следуют иные по мере сил, даже из тех, кто отвергли его основы, даже из тех, кто ни о них, ни о нем ничего не слышали. Этому вместе с Пушкиным учит и почти вся русская литература прошлого столетия. Через полгода после его смерти, накануне больших в ней перемен, Белинский писал Бакунину (10 авг. 1837) о том, что делит человечество « на два класса — на людей с зародышем любви и людей, лишенных этого зародыша »; как видим это еще не совсем учение о классовой борьбе. Достоевскому, Толстому и многим другим казалось — не без основания казалось — что зародыш этот, что способность сострадания и прощения живет в очень многих простых русских людях, пусть и неграмотных, пусть и весьма грешных, пусть и преступных. Казалось даже, что сострадание и прощение дороже им, ближе их сердцу, чем сама справедливость; и даже сердцу некоторых бар. О своей княжне Марье, Толстой говорит: « Княж-

на никогда не думала об этом гордом слове справедливость ». О чем же она « думала » ? Она испытывала жалость. Это первая ступень. Но ведь жалость совместима с презрением ? Княжна Марья это знает, и страшится этого; ищет высшей жалости, благочестивой, той что́ в средневековой латыни и по-итальянски сливается с благочестием в общем для них имени (pietas, pietà; по-французски оно раздвоилось на piété и pitié), той, что́ по-русски зовется состраданием.

« Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества ». Устами князя Мышкина это говорит Достоевский. Не из Швейцарии князь это вывез; и не он один, не один Достоевский это говорит. Много позже, в 1911 году, Розанов с полным правом мог написать: « Ницше почтили потому, что он был немец и притом страдающий (болезнь). Но если бы *русский* и *от себя* заговорил бы в духе: « падающего *еще толкни* », — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать ». Но чем же внушается этот единодушный приговор над отказом от сострадания (к которому более, чем упрощенно сводится тут весь Ницше) эта *любовь к состраданию,* свойственная, я уверен, и теперь большинству русских, даже и всяческого, ныне возможного, звания и состояния ? Уж конечно не « филантропическим пантеизмом », который Леонтьев приписывал князю Андрею из « Войны и мира », и которого княжне Марье он не мог бы приписать. Не « женевскими идеями », названными так Версиловым в « Подростке », о « добродетели без Христа », о любви (или верней о претензии любви) к умопостигаемому, в нашу дверь не стучащемуся « общечеловеку ». В « Дневнике писателя » о ней сказано (1873): « Любить общечеловека, значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека ». « Женевские идеи » проистекают из протестантизмом истолкованного христианско-

го завета любви, но подменяют христианскую, еще и в протестантизме живую веру в священность каждого лица и несоизмеримость его с другими лицами доктриной о равноценности и одинаковой врожденной безгрешности — по Руссо — всех экземпляров человеческой породы; как и соответственно этому, сострадание — рассудочной утопией об уничтожении страданий, а совесть, подсказывающую нам, что все перед всеми виноваты, равнодушным, высокомерным и безответственным учением о том, что никто ни перед кем не виноват. Это все еще « человечность », это быть может — две капли на стакан воды — все таки еще и сострадательность. Но прозорливо писал Розанов, через год после приведенных только что его слов: « Европейская цивилизация погибнет от сострадательности (...). Не от сострадательности, а от лже-сострадательности... В каком то *изломе* этого ». У христиан, писал он, была любовь ; « 'гуманность' (общества и литературы) и есть ледяная любовь... Смотрите: ледяная сосулька играет на зимнем солнце и кажется алмазом. Вот от этих алмазов и погибнет все ».

« Ледяные сосульки » нынче, в « стране святых чудес », так при неоновом освещении и сверкают; но того, каким образом в России « погибнет все » и Розанов, в 1912 году, представить себе не мог. У нас ведь теперь и сострадательность называют гуманностью, чаще же всего « гуманизмом », без всякого различения — на это уже сама терминология указывает — между состраданием подлинным и ложным, а то и лживым. Когда Владимир Мономах в « Поучении » своем писал: « Человеколюбивый Бог милостив и премилостив », он знал, что значат эти слова. Когда Державин стихи о « Праведном судии » начинал словами: « Я милость воспою и суд », он тоже знал, что́ такое милость, да и что такое праведный суд, хоть и не много было, в его время, у нас добропорядочных судов и судей. Знал

и Пушкин, что́ такое призываемая им милость, хоть и не была она оказана (отчего и назвал он, в предыдущей строке свой век жестоким). Знал и Достоевский вслед за ними, что сострадание — « закон бытия », хоть и не исполняемый закон, хоть и закон до конца быть может неисполнимый; знал, потому что жил в том же еще мире, что и они, в том же мире, где все мы жили, начиная со Владимира — не Мономаха даже, а первого Владимира — в том же мире, где жил, например, и современник его, Диккенс, которого почтил он именем « великого христианина ». Зато нынче объявляют Мономаха « гуманным » (в хрестоматии отличного знатока древней нашей письменности, Гудзия), — за то, вероятно, что призывал он сыновей к « покаянью, слезам и милостыне », а все прочие похвально поминаемые предки, для нынешних выкрестов — « гуманисты »; неизвестно с кем во главе; может быть с Пушкиным (который, по излишку грамотности, себе такого титула никогда бы не присвоил), а может быть и с милостивым и премилостивым Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, как известно, нежной душой ласкавшим преимущественно детей, — не знаем лишь чьих, детей ли тех, кого ставил он к стенке, или детей « вообще », общечеловеков в детском возрасте.

Высокие слова, почти все, рано или поздно снижаются и ослабевают. Давным давно мы говорим « помилосердствуй » или « скажи на милость », подобно тому как прощаемся, не зная, что просим прощенья, и бормочем « спасибо », безо всякой мысли о Боге или спасении. О словах же заменивших высокие, можно, пожалуй, и не жалеть, когда снижают и их, разоблачают их ничтожество и фальшь. Невеликий писатель бывшей земли русской, но как никак нобелевский яко бы и всея Руси лауреат, упавших своих или падших (по его мнению) собратьев с отвратительной грубостью « еще толкнул », на соответственном съезде заявив, что

призывавшие, во спасение их, милость властей предержащих, лишь « прикрывались словами о гуманизме », и что « гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство », как хорошо, мол, известно гуманнейшим из гуманных, но без малейшего слюнтяйства приговаривающим к расстрелу военным судам. Насчет « гуманизма », в его и многих понимании, мы теперь, таким образом, осведомлены, — тем более, что ведь это он, проливая слезу над опочившим в полном зверстве хозяином своим, Отцом Народов, назвал его (в « Правде ») « человечнейшим из людей ». Так умирают слова. Не всем из тех, кто к ним привык, доставила их кончина радость. Не все сказали спасибо чумазому их гробовщику. Сказано ему было и другое. Не во всеуслышанье, но все же и не на ухо. Не о словах, а о том, что могли бы они значить, и что гораздо ясней означают другие слова, те « полные святыни словеса », которые младенцам некогда внушала

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена,

хотя иной « младенец » уже и тогда « превратно толковал »

Понятный смысл правдивых разговоров,

не извращая, однако, их смысла в пух и прах, полностью их не перевирая. Есть и еще одно такое слово. Нужно и его упомянуть. Но не прежде, чем радость выразив, которую все мы испытали, вдалеке пребывающие, последние, когда узнали, что все таки сказана была тому безобразнику правда, что не всё у нас нынче сплошной СССР, что *есть* за этими буквами Россия.

*

« Благообразия не имеют », говорит старец Макар Иванович в « Подростке », и задевают его слова самого

« подростка », повторяет и он: « у них нет благообразия », хочет благообразия искать. Да и не один Достоевский церковное и народное это слово услышал, и воплощение его смысла в образе своего старца увидал. До него, в « Войне и мире », Толстой о Платоне Каратаеве молвил: « В его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия ».

Что же это такое, благообразие ? Если верить академическому « Словарю современного русского литературного языка » — « приятная внешность ». А « благообразный » ? « Имеющий привлекательную наружность, приличный, приятный на вид ». Тут же указано, что слово это устарело. Но ведь устарелые слова лучше других сохраняют свое значение. И если современный русский читатель решит, что старец Макар Иванович хлопочет всего лишь о приятной внешности, а Платон Каратаев понравился Пьеру и Толстому тем, что « самым простым событиям », в рассказе о них, придавал некое, « торжественное » почему то, приличие и такую же приятность, то придется ему насчет Академии Наук почесать затылок, да и подумать пожалуй, зная, сколь охотно цитирует она в этом издании своем и Достоевского, и Толстого, что действует эта почтенная — или быть может лишь полупочтенная — дама без всякого благообразия. Как, увы, и русско-английский словарь Смирницкого, где благообразие рекомендуется понимать как comeliness. Бедные англичане и американцы ! Много они поймут в нашей литературе, если примут того Макара и этого Платона за каких то фатов или франтов, озабоченных лишь « привлекательной наружностью ». Что и говорить, перевести это слово не легко; как и другие греками нам завещанные слова — благочестие, благоговение, благолепие —, оно на западные языки в сущности не переводимо. Можно такие слова пояснить, на смысл их

навести (но конечно не путем фальшивого их перевода). Дело это не безнадежное: Запад тоже Греции внук, но при другом отце; однако слов в точности соответствующих этим словам, не по составу только, но и по смыслу, на его языках нет. Этой своей особливостью, греческою русскостью они и требуют нашего внимания. Они Россию, оторванную Петром от немалых сокровищ своего прошлого, связывают с древней Русью, а через нее с Византий, а через Византию с древней Грецией. « Благообразие » — едва ли не самое знаменательное из них. Недаром привлекло оно взгляд, как Достоевского, так и Толстого. Позволительно видеть в нем ключ, один из драгоценнейших ключей к еще неосознанному Западом и пренебрегаемому Россией наследию России.

В благообразии есть и внешняя сторона. Старец из крестьян Макар Иванович и солдатик-мужичек Платон Каратаев были, каждый по своему, и внешне благообразны, хоть и не так, чтобы внешность их просто-на-просто можно было назвать « приличной », « приятной » или « привлекательной ». Но не в их внешности дело, и сами они (в этом отчасти их благообразие и состоит) вовсе о ней не думают. Видимое благообразие для них, как и в облике их — лишь сияние невидимого духовного и душевного; а оно само — ничто иное, как нераздельное слияние добра и красоты, оттого и проступающее наружу, что красота, в последней своей сути, ничем другим и не может быть, как излучением добра. Ничего нет прекрасного, для них, как и в облике их, что тем самым не было бы добрым, и ничего доброго, что не сияло бы красой. В этой неразрывности, в этом *отказе от разрыва* и состоит та основа духовной жизни, из которой выросло все то в нашем прошлом, о чем всего крепче, мы, как и другие, чувствуем, что оно — наше.

Основу эту создали не мы. Мы получили ее от

греков, вместе с христианством, полученным от них. Напрасно было сказано (Вейнингером) о нас, что мы самый негреческий из всех народов. Мы только самый немраморный, неолимпийский, и в этом смысле наименее языческий. Греки не статуи одни создали; они создали иконы, и самую их идею; да и в статуях было предвестие икон, а не одних только гипсовых « антиков ». Греческий язык никогда отчетливо не отделял добра от красоты, и еще Платон не во всем и не до конца их разделяет. К этому стремился современник его, софист Продик, положив начало тем бесчисленным усилиям мысли в результате которых эти, как и многие, понятия уточнились, заострились, но и обособились до такой степени, что породили пуритан, чурающихся искусства, наряду с пуританами эстетики, отвергающими нравственность. Мы от греков переняли нашу разумную безрассудность или от них разрешение получили надолго ее сохранить. В переведенной с греческого Книге Бытия, Творец, созерцая творение свое, говорит о нем: « добро зело », или по-русски: « хорошо весьма », что в обоих случаях означает похвалу красоте, но при полной невозможности для нас помыслить эту красоту злою. « Добро́та » значило некогда « красота »; древнерусское житие св. Февронии повествует о « неизреченной добро́те » не ее сердца, но ее лица (как это отметил давно уже о. Павел Флоренский). И столь же двойственным — вернее обоюдным — остается даже и доселе слово « хороший ». Мы говорим « он хорош собой », и лишь для очень недогадливых и неискушенных по части языка читателей

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была

может означать, что в юности Татьяна была добродетельней или добрей, чем после замужества. Верно, од-

нако, и то, что Пушкин не мог не чувствовать красоту Татьяны доброй, и что Феврония сердцем была столь же прекрасно-добра, как и лицом. Не в смешениях и смещениях смысла дело, не в словах, а в том, что затаено под ними, в глубине, у корней Слова. Благого образа взыскую. Недоброй красы не хочу. Не хочу, да и не вижу добра, если не теплится оно, пусть и неярко, да тепло, как свеча перед иконой. Так мыслит язык, для которого крестьяне — христиане, и который палку поперек палки — крест — именует именем Христа.

Что и говорить, рассудок давно вступил в свои права, памятуя не о смыслах, а о пользах. Слова для него — разменная монета, и решая крестословицу никто не помышляет о кресте. Но в глубине совести —о, разумеется не чистой — что то все же шевелится, благодаря чему, в раскрещенной России, удачное это словечко заменили низколобо украденным « кроссвордом », а крест после имени покойника — черною рамкой, намекая, надо полагать, на тюремное окно. Да и все эти мысли, некогда вложенные в слова, конечно все они не протокол, а постулат, не дважды-два-четыре, а вера, — вера и надежда, вера и любовь. « Удивительное дело — восклицает Позднышев в « Крейцеровой сонате » — какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, делает гадости, а ты видишь что то милое . . . » Но ведь слышишь и видишь ты это, потому что ты влюблен, и потому что влюбленность твоя приподнялась до любви, иллюзорно осуществившей требуемую ею нераздельность. Если не приподнялась бы, не создалось бы иллюзии, не было бы и надобности в ней. В требовании этом, а не в иллюзии все дело. Толстой ведь и сам, хоть и писал: « Добро не имеет ничего общего с красотой » (Думая об искусстве,

в книге « Что такое искусство ? »), все таки всю жизнь прожил в этом отказе отделять добро от красоты. Все заблуждения его насчет искусства и многого другого связаны с этим, но и все величие, как и вся правда, что́ и в заблуждениях сквозит. Позднышеву он сам мог сказать, да в сущности уже и сказал: красива, быть может, красавица твоя, да неблагообразна; не той красотой хороша, несовместимы с которой гадости и глупости. А Достоевский, если б дожил до « Крейцеровой сонаты », подумал бы, припоминая слова Шатова в « Бесах »: нет, если « мир спасет красота », то не эта красота. И быть может пришла бы ему на ум утреня Великой Субботы, где, обращаясь ко Христу, поют: « Ад умертвил еси блистанием Божества ».

И страданием Божества. Не эта ли в страдании обретенная, страданием просветленная красота спасает мир ? Не она ли ад умерщвляет в душах наших ? Так, даже не зная о том, верила Россия. « Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше ». В *этом* было сокровище ее. В *этом* самая сокровенная сердцевина ее наследия. Оттого и не хотела она красоты не осиянной добром, оттого искала и в добре того побеждающего смерть блистанья. Оттого и готова была, вместе с Раскольниковым, как и вновь будет готова, если обретет наследие свое, « всему страданию человеческому » поклониться. Как он, в земном поклоне перед Сонечкой, так и она перед всем, что было замучено и поругано за долгие эти годы, в земном поклоне страданию безымянной нашей страны, — но и состраданию ее, которое в Сонечке было, по слову Достоевского, но верю, что не в ней одной есть и будет — *ненасытимым.*

РАЗГОВОР О БАХВАЛЬСТВЕ

— Отчего это ваши соотечественники, — говорил мне как то, не так давно, старик-француз, бывавший в России и хорошо понимающий по-русски, — отчего это ваши соотечественники так склонны к самовосхвалению, к хвастовству, к тому, что так метко называется у вас — ах как богат, как великолепен ваш язык — бахвальством ? Не то, чтобы к индивидуальному бахвальству, этого я не замечал, а к собирательному, коллективному, к такому которое говорит не « я », « мое », а « мы », « наше ». На поверку это ведь сводится к тому же самому: « я » — составная часть этого « мы », « мое » — составная часть этого « наше ». Если я скажу: « мы лучше всех », то ведь я тем самым сказал: « я лучше всех », — если не всех, кто внутри этого « мы », то всех, кто за пределами его, а их ведь очень много. Вот я читаю ваши газеты, а там на все лады и повторяют это самое: мы лучше всех.

Тут я прервал его: да полноте, разве это мы одни ? Ведь и ваши соотечественники любят прихвастнуть — индивидуально и коллективно, всячески.

— Да, да, — сказал он, — я знаю. Классик один ваш еще полтораста лет назад молвил про нас:

Французик из Бордо, надсаживая грудь . . .

и в надсаживаньи этом ощущал он наверно какой то оттенок тщеславия. Что и говорить, тщеславия у нас много и теперь. Да и самомнения, единичного и коллективного; об этом спору нет. Но к прямому бахвальству, без малейшего стеснения, в печати, приводит оно редко. Где же вы видите в наших газетах, через каждые три строки, выражения вроде: « наше мудрое прави-

тельство », « под заботливым руководством нашей мудрой партии » (причем пишет это член партии, очевидно и сам себя причисляя к мудрецам), « наша первая в мире литература », « наша самая передовая наука », « наша великая социалистическая культура », не говоря уже об эпитетах пристегиваемых к словам « народ », « страна », « родина », и о фразах, произносимых — так и чувствуется — именно « надсаживая грудь »: « нас не напугаешь », « нас не проведешь », « мы победим », « мы опередим ».

— Постойте, остановил я его. Значит это вы таможнюю печать имеете в виду, казенную (другой у них и нет); так бы и сказали. Но если и о ней говорить, что ж, это ведь просто, с одной стороны, патриотизм, и нельзя же людей бранить за то, что они — патриоты; с другой, неотесанность, дурные манеры; а с третьей, как бы это назвать... Ну, скажем, партийная дисциплина.

— Странная дисциплина ! У нас и в армии такой дисциплины нет, чтобы все хором должны были восхвалять что бы то ни было. А патриотизм, это любовь к родине, а не расхваливанье ее на всех углах. Родина, это мать. Я люблю ее как мать. Но ведь никому и в голову не придет писать в газетах: моя мать лучше всех матерей, она всех умней, всех красивей, и тому подобное. Да и знаю я очень хорошо, что у матери моей могут быть и недостатки. Не потому я люблю ее, что у нее их нет. Конечно, моя мать — одно, а наша общая — другое, но это не значит, что мы сообща должны ее превозносить, как будто без этого и любить ее не станем. Что же касается партии, то не рассказывайте мне, что все это самовосхваленье — мы всех сильней и лучше — только в СССР и началось. Еще когда с японцами вели войну, говорили: мы их шапками закидаем. А вышло, что и не закидали.

Тут я, и смутился, и негодованье почувствовал одновременно.

— Перестаньте, — почти что крикнул я, — какой то негодяй пустил тогда эту фразу, и всем стало тотчас стыдно за него и за нее. Шапками закидаем ! Да ведь это в поговорку вошло, именно как пример глупого бахвальства ! Я вырос в России, я жил там еще и в первые семь лет после революции, и смею вас уверить, те, с кем я знался, ни к какому коллективному бахвальству склонны не были, и в том, что я читал — ну, правда, с разбором читал — его тоже не было ни тени. Я его меньше видел вокруг себя в России, чем в любой из тех стран, которые узнал потом. Над квасным патриотизмом у нас смеялись. Вы знаете, что это такое ? Это убеждение, что квас — лучше всех заграничных напитков именно потому, что он напиток русский; или что Репин — не хуже, а то и лучше, чем Веласкес или Рембрандт именно потому, что он русский живописец. У нас считалось столь же неприличным самопревозноситься вкупе, как и в одиночку. Это только « великая социалистическая культура » сама себя хвалит, не как гречневая каша — та делает это молча — а как замоскворецкая купчиха, высменянная еще Островским: « Ах, как я умна, ах, как хороша ! »

— Ну, ну, — улыбнулся француз, — я ведь только так, подразнить вас хотел. Я помню. Бахвальство нынешнее у вас в стране Сталин завел, в Италии Муссолини, а в Германии Гитлер. Как все слабости, что поделать, есть и эта в человеке; надо лишь уметь использовать ее. Те трое умели. И « великая социалистическая культура » — « наша, наша », так кричит она у вас, так кричала бы и у нас — следуя примеру тех троих, тоже умеет этой слабостью пользоваться, очень даже успешно. Только все таки, вы меня простите... Я ведь вашу страну люблю. Не один лишь язык ее чудесный, но и многое другое, вплоть до черточек

иных в манере вашей жить и с людьми дружить, вплоть до еды и питья... Когда то, давным давно, я ведь и квасу вашего испробовал: хорош! Жаль, что нигде его не достать; нынче, кажется, даже и у вас. О писателях ваших, прежних, больших, тех, кого « классиками » величают — чтоб отделаться от них что ли? — нечего и говорить... Не любить их невозможно. Но знаете, не сердитесь, отчего это у них немцы всегда такие глупые, англичане вашим столярам да слесарям в подметки не годятся, французы — либо краснобаи, либо попросту мерзавцы ? Один Ламберт в « Подростке » чего стоит — помните ? Ohé, Lambert ! As-tu vu Lambert ? — , да и у Толстого его Рамбаль, и другие французы в 1812 году. А два « полячка » из « Братьев Карамазовых » ? А совершенно идиотическая чеховская англичанка ? Или вот, не хотите-ли, у Тургенева в « Первой любви », граф Малевский, негодяй, поляк, чье лицо, когда автору он особенно стал гадок, « приняло на миг жидовское выражение ». Нет, нет, об этом последнем пункте ни слова, ни-ни. Но почему, скажите, когда писатели ваши русское хвалят — тот же и Тургенев, не говоря уж о Достоевском, Толстом — то как то не стесняются, точно сами они не русские ? Конечно, до « великой, величайшей нашей литературы, науки, культуры » дело у них не доходит: этого бы они постеснялись, да и вовсе этого не думали. Но предпосылки бахвальства порой у них все же тут как тут. А в зарубежной вашей печати — не прогневайтесь, я ведь почитываю и ее — обо всем этом вашем (хорошем, хорошем, не спорю) говорится нередко совсем почти в том же тоне, что и в советской. Где уж, мол, мелкоте этой, сантимникам ? Разве они понимают ? Вот, бывало, у нас... Мы... Наше... Великая... И в прошлом не хотят видеть никаких пустот, изъянов, пробелов. Молчу, молчу. И пора мне. Договоримся, разберем все это ближе в следующий раз.

*

На этом мы с ним и расстались, но словечко это, бахвальство, долго еще вертелось у меня на уме и мучило меня. Ему что ? А мне стыдно — за Россию. « У ней особенная стать », в этом бахвальства нет. « Россия, встань и возвышайся », и в этом нет бахвальства. Даже

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс —

и тут не вижу греха. Но уже насчет гоголевской тройки, сомневаюсь. Зачем это ей лететь так, чтобы косились на нее « другие народы и государства »? Не вижу, чтобы честь или слава России состояла в том, чтобы кого-нибудь « оставить позади », и не нахожу, чтобы даже величайшие наши умы и сердца так-таки вообще опередили или превзошли не « наши », но все равно родные нам сердца и умы христианства, Греции, западного мира. Прав был Карамзин, когда писал, в 1802 году: « У французов еще в шестом-на-десять веке философствовал и писал Монтань: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас ? » Думал так же и Пушкин; и не находили они нужным искать в московской Руси доморощенных Платонов и « быстрых разумом Невтонов », которых у нее не было. Смешна похвальба, основанная на невежестве; глупа — основанная на применении к нам особой мерки, что ведь как раз Россию и унижает. Отвратительна та, что́ ни на чем не основана, кроме как на слепоте ко всему « чужому ». Противно было и вызывало брезгливую жалость к Шмелеву, когда он, много лет назад, отвечая на анкету « Чисел », в Париже, объявил Баранцевича и Альбова писателями нисколько не хуже Пруста. Но еще противней похвальба, основанная на лжи и лести. Мучительно стыдно читать, только раскроешь любой советский листок, комплимен-

ты тем, у кого палка в руках, перемешанные с готовыми — истошным голосом на ленту записанными — « наша великая », « наша могучая », « наша первая в мире » . . .

Если бы они еще гордились . . . Но нет, куда там. Они льстят и хвастают, чтоб и всем, и себе польстить, а не только начальству, не отделяя уже лести от хвастовства. Тот, кто чем-нибудь горд, тот этим хвастать не станет. Гордость, доведенная до предела, бывает страшна, бесчеловечна. Можно осуждать гордеца, можно его жалеть, можно ненавидеть его. Хвастуна можно только презирать.

*

Месяцы прошли, много месяцев; не видал я моего француза. Но вот на днях позвонил: приду, надо поговорить. Пришел, сел, наклонил свою седую голову и вымолвил:

— С повинной я к вам. Принимайте покаяние.

— Обрусели вы совсем, милый друг. Как Пьер Паскаль, как Брис Парэн. Да и не знаю, каются ли даже они. А главное, вы то, передо мной, в чем же вам каяться ?

— Ну, помните, насчет бахвальства.

— Вы теперь думаете, что его у нас меньше, чем вы думали тогда ?

— Ннет . . . Нет, нет, этого я не думаю. И здешние порой . . . А уж тамошние . . . Читал последнее время о до-петровской Руси новые книги, интересные, толковые; но всем авторам этим до зарезу нужно показать, что нисколько и ни в чем не уступала эта Русь современному ей Западу. Оно и верно, что прежде, Милюков, скажем, да и другие, этак немножко свысока, с эйфелевой башни Просвещения (и позитивизма) на нее взирали, а нынче я ведь и сам, Алэна ученик, из Нор-

мальной Школы безбожник, готов приложиться к Рублевской Троице; только им чернеца этого, да и самого Преподобного, и Лавры его мало; Новгорода, Владимира, все мало; и уже насчет искусства обижаются они, как это церкви эти Владимиро-Суздальские, или верней скульптурные их украшенья кто то романскими назвал. Никакие, мол, не романские, а сами по себе: лучше романских; и вовсе нам, знайте, готических ваших громоздких соборов не нужно, и Ансельма не нужно, и Фомы не нужно, и без Данта обойдемся. Если поповщина наша поскромней была вашей, тем лучше. Зато беспоповщина! Стригольники то наши и жидовствующие, они во! (простите, это я Толстого некстати цитирую, из « Власти тьмы »). Ну и все это я, конечно, в сгущеных красках изображаю, но не лгу, сами знаете, не лгу. Да и пусть рельефы эти, скажем, и узоры правильней к романским не причислять, но что же в таком причислении обидного? Ведь к тому же и как мало их, кот наплакал, а романская скульптура одной лишь Испании или Франции, конца ей нет, и разве не хороша? Или вот еще варяги. Это их, видите ли, из ненависти, из презрения к России, тут, на Западе, мы, головорезы буржуазные, придумали. А мне что? Вовсе я за варягов этих не держусь. Но если бы они и были, что ж тут такого страшного? Насчет норманнов, англичане, например, не обижаются, все в порядке, а соотечественники ваши нынешние из-за варягов прямо таки на стену лезут. Как бы там кого ни называли, а все всегда у нас, в СССР, были мы да мы, и больше никаких. Скифов к рукам прибрали: изделья их, это, мол, сокровища нашего искусства. Да и страна Урарту, чего древней, а вроде как наша...

— Тем более, что и бывший наш хозяин, Отец, Великий Языковед, по соседству родился. Все это так, увы. Но ведь это опять о бахвальстве. В чем же хотели вы каяться?

— К этому и перехожу. Осенило это меня внезапно; как раз после такого чтения. Выхожу я раз из библиотеки, перед праздниками недавно, иду по Сен-Жерменскому бульвару, и возле углового кафе, где мы сиживали с вами, в киоске, вижу, английский еженедельник, ну самый, знаете, солидный, « Литературное приложение к Таймсу » и через всю первую страницу заголовок — латинскими буквами, но слово как бы вроде и русское: САМОДОВОЛЬНОСТЬ. Не совсем ведь так, кажется; говорят « самодовольство », правда ? Удивился я немного, но потом...

— Так и вы этот номер видели ? От 8-го декабря 66-го года. Забавно...

— Потом я шел и все об этом слове думал, и о том, что оно значит. Самодо... Но вы хотели что то сказать.

— Успею. Продолжайте. Я номер этот видел, статью прочел и письмо в редакцию о ней написал...

— Поправили ошибку ? Я не купил. По-английски читаю с трудом. Но вот шел все и думал: самодовольство, — по прямому смыслу, по составу слова, это могло бы быть и не так плохо. Ишь ведь: « святое недовольство собой ». Отчего же нельзя мне быть довольным чем то, что мне удалось, поступком, которого никто злым не назовет, а то и вообще собой, если не терзает меня совесть ? Или *должна* терзать ?

Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой —

не Достоевский ведь тут иронизирует, и не Блок. Нет, у них, у всех, думал я, в языке их, « самодовольный » — это нехорошо. « Что то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле ». Откуда это ? Достоевский, конечно... Пришел домой, перелистал, в « Подростке » нашлось, отмечено у меня было. Сам « подросток » и говорит о лице Крафта, немца конечно: « Что то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то

такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что то вроде какой то тайной, себе неведомой гордости ». Крафт — серьезный, хороший, чистой души человек. Значит, мало этого. Тот хвастунишка с надрывом не совсем его одобряет. Поймите, поймите, я и возмущаюсь, и восхищаюсь одновременно. Крафт бы хвастать не стал, ни скверным, как тот, ни хорошим. Гордость бы ему помешала ? Ей во всяком случае с хвастовством не по пути. Как и самодовольству ? Бывает хвастливое, но такое осуждается везде. А не хвастливое ? Самодовольство без бахвальства ? Здесь вы его у первого встречного найдете. Его на Западе не осуждают, пожалуй даже и не отличают от чувства собственного достоинства. « Незлобивое и деликатное » было у Крафта лицо, « хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем »; видимо и там, у них — у вас — этих двух вещей не отличают . . . Осуждают обе ? А как насчет бахвальства без самодовольства ? Тут и осенило меня. Есть бахвальство, но зато . . . Ну, вы уже поняли. Вот я каяться и пришел.

— Спасибо. Тем более, что тогда, после нашего разговора, мне все это в голову совсем не приходило. Когда же я насчет « самодовольности » прочел, я им написал, во-первых, что такого слова нет, а во-вторых, что слово, которое есть, всегда означает по-русски, как и родственные ему « самонадеянность » и « самоуверенность », нечто оцениваемое отрицательно. Письмо мое через две недели напечатали, а в дальнейших двух номерах два ответа на него: автора статьи, озаглавленной « Самодовольность » и автора книги, на которую эта статья была рецензией. Судя по статье, думаю, что книга эта — о Толстом, молодого оксфордского ученого Джона Бэйли — очень недурна. Не читал ее, но прочесть собираюсь. В ней подчеркивается, повидимому, семейственность, сплоченность и замкнутость семьи, важная черта (о которой сам я некогда

писал) в романах и в мировоззрении Толстого. Это самодовление семьи Джон Бэйли видимо и называет самодовольством. В письме своем он ссылается на сомнительное для меня различие смысла русских суффиксов « -ство » и « -ость », причем последний, будто бы безоценочен, нейтрален (не знаю почему « гадость » более беспристрастно, чем « свинство » или « стойкость », чем « мужество ») ; рецензент же, в своем письме, приводит два изданных в Англии русско-английских словаря, где он « самодовольность » нашел, и где слову этому дано безоценочное значение. Я ни тому, ни другому не отвечал; с первым, я уверен, сговорился бы легко, весь наш спор ограничился бы спором о словах; но раз англичане эти думают, что знают русский язык, а я не знаю, Бог с ними.

— Вы, значит, уверены, что « самодовольство », « самодовольный » всегда звучат неодобрительно ? Ведь так ?

— В нынешнем языке, да. Академический словарь (многогрешный, что и говорить, но и многотомный, то есть подробный, и даже добросовестный, там, где идеологии незачем совесть упразднять) никаких примеров нейтрального значения не дает. Но вот у Пушкина (через соответственный словарь) нашел я словоупотребление очень любопытное. Один лишь раз, но встречается у него, кроме самодовольства, которым он недоволен, как и все мы, еще и « самодовольствие », — в « Капитанской дочке »: « Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою » . . .

— Как это хорошо !

— Для вашей новой теории о компенсации бахвальства ?

— Конечно ! Но и для Пушкина, для моей, для вашей любви к Пушкину. Подумайте только: он еще

знал, из предыдущего столетия получил (надо это проверить) старое западное понятие (каким бы словом оно ни выражалось) о таком довольстве собой, которое может быть смешным — как у « рогоносца » в первой главе « Онегина » — но может быть и святым, не хуже недовольства...

— Святым-то все таки вряд ли...

— Как я рад, что это *вы* говорите! Ловлю вас на русскости. Но « самодовольствие » в « Капитанской дочке », не можете же вы спорить, — справедливое, доброе. Пушкин такое понимал. А вот после него всякое самодовольство стало скверным. И все открытие мое в том, что бахвальство, у соотечественников ваших, именно из отсутствия или точнее говоря из запрета самодовольства и проистекает.

— А запрет откуда?

— Вы конечно скажете: из Писания и учения Церкви, из « поповщины » прежней. Или, что́ почти то же: от воспитанного ею — сквозь века и века — крестьянского народа. Не спорю, но и у нынешних, советских, плоды просвещения, *этого* просвещения нахожу. Похвальба их, включая присоединение скифов, включая и стригольников, и варягофобию, и « нашу великую », « величайшую в мире », не от самодовольства она вся, а от запрета самодовольства, — даже и коллективного, тем более личного. Если бы в самом деле довольны они были собой и своим, ни к чему были бы им все эти аннексии и контрибуции, рукоплесканья, не всегда искренние, « братских республик », превознесенье до небес разных там « Бурлаков » и статеек Добролюбова о « Луче света в темном царстве ». Ведь понимают же там, ну хоть те, кто побойчей, что Запад был почти во всем, почти всегда...

— Тут вы уже кажется увлеклись немного. Ничего они не знают, меру, общеевропейскую меру потеряли, которой и у нас мерили, до них. Но может быть

верно, что бахвальство, даже у них, наигранное, молодечество — показное. Неведенья много, а потому и вполне искренней веры в превосходство над хорошим чужим плохого своего. Самоуверенности подлинной нет, а потому и настоящего самодовольства, не кичливого, « самодовольствия » тоже нет. Зато кичливого сколько угодно. Коллективное бахвальство, кроме того, все ведь время подхлестывается там искуственно. Отдельный же человек, в нем еще старая совесть жива, и самомнения, даже простой удовлетворенности тем, каков он есть, да и всего « слишком уж спокойного в нравственном смысле » он по прежнему стыдится. Не всегда только знает, что стыдиться надлежит и самохвального « мы », а не одного лишь тщеславного « я ».

— Но вы все таки « открытию » моему на Сен-Жерменском бульваре сочувствуете ?

— Сочувствую.

— В Россию верите ?

— Сквозь сомнение, сквозь отчаянье — верю.

ОТЧЕГО НЕРУССКИЕ ЛЮБЯТ РУССКОЕ?

Долгие годы живя за границей, я не раз задавал себе этот вопрос, хоть, конечно, и знал, что не найду простого и ясного на него ответа. Да и самый вопрос нужно еще пояснить. Он не предполагает (Боже упаси!), что нерусские — все или в большинстве — так-таки и готовы всем русским восхищаться, так-таки и тянутся ко всему русскому. Вовсе ведь и русский не обязан — хотел бы, да не могу сказать: не способен — без разбору любить все русское. Скажу, однако: плох тот русский, который отказывается разбирать. Отнюдь не должен быть ему «сладок и приятен» смрадный «дым отечества». В разборе, в выборе все и дело... Что же до нерусских, то иные из них (и далеко не одни натерпевшиеся от нас в прошлом соседи) ко всему русскому относятся (или относились) более чем отрицательно. А нынче, кроме того, существует в притяжениях и отталкиваниях этих невероятнейшая путаница, вызванная переименованием России, приводящим к ее отожествлению с Советским Союзом и к отожествлению советской власти, советских порядков со всеми теми, кто вынужден этой власти поддакивать и эти порядки выносить. России на карте и в газетах нет, а русские люди превращены в советских подданных или (как зря говорится) граждан, вследствие чего друзья или даже полудрузья советского строя с легкостью объявляют противников его врагами России, тогда как, в недавние годы, противников гитлеризма или фашизма никто, кроме разве что самых заядлых гитлеровцев и фашистов, врагами Германии или Италии не объявлял. С другой же стороны, и

друзья « Советов », корыстные или нет, изображают или воображают себя друзьями России, да порой (при достаточном простодушии) и становятся на деле обожателями — как раз без разбора — всего наирусейшего, хоть и далеко не лучшего в нашем настоящем, а то и прошлом. Ведь и небывало разросшийся за последние десятилетия интерес к нашему языку и нашей литературе в зарождении своем объясняется, увы, пушками, а не Пушкиным: идеологической пальбой по не очень проворным мозгам, да и пушками в самом деле, оказательством физической, техникой умноженной силы, но отнюдь не самим обаянием того, с чем, заинтересовавшись, иностранец получает возможность ознакомиться. Часто, чаще всего, он приходит к русскому сквозь советское, — как, впрочем, и нынешний русский, в России. Хорошо еще, что *возможно* оболочку убрать, забыть о ней, к драгоценностям, упакованным в казенном пакете, а то и не попавшим в него, найти доступ не казенный, иной. Но если он найден . . . Верно ли, что и чужому русское это станет дорого; а главное, чем ? В этом весь наш вопрос.

В этом он весь, но еще, с двух сторон, надо его уточнить. Во-первых, не о вовсе чужих и далеких народах мы думаем, когда его ставим, и не о родственниках, не о ближайших соседях; о Западе мыслим, о людях Запада, родных, но и чужих, о тех, что как будто и мы, а все же, во многом, не мы. Во-вторых, не о том идет речь, что́ могут они понять, полюбить *как свое* у писателей наших и, когда в совершенстве осилят язык, у поэтов. Речь идет о любви к тому русскому, что кажется им именно русским, а не своим, и что совсем не совпадает с тем хорошим или очень хорошим, с тем хорошим « вообще », что могут они, вслед за нами или независимо от нас, найти у наших писателей, поэтов мыслителей, композиторов, художников. То русское, что любят нерусские (когда они его любят),

может найтись и там, на высотах, но может сквозить — для них сквозить — и в самой будничной ткани русских обычаев, нравов, привычек, отражаемых литературой даже и не высокого полета, или непосредственно воспринятых, помимо всякого искусства, на улице подобранных, найденных в быту...

*

Бывал я нередко, в былые времена, у благоволившего мне, как и другим русским парижанам — Адамовичу, Фельзену — французского писателя, умершего накануне войны (критика прежде всего) Шарля Дю Боса, человека широкого ума и открытой души. В литературе, в литературах (не одна французская была ему близка) прожил он жизнь. Необычайно любил Чехова. Прочел все, что было переведено, письма, мельчайшие пустячки. То, чего не было по-французски, прочел по-немецки или по-английски. Перечитывал неустанно, восхищался вновь и вновь. Многим у Чехова восхищаюсь и я, но долго не мог я понять ни причин, ни меры — безмерности даже — его восхищения. Постепенно, однако, из разговоров выяснилось, что не искусство Чехова его восхищало, а изображенная Чеховым — без всякого восхищенья — русская жизнь. Не вся целиком, и не в тех ее чертах, которые Чехов порицал или описывал с грустью, а в тех, которых он вовсе не силился « подмечать »: они сами собой включались в повествованье, чье правдоподобие, однако, и впрямь было бы утрачено без них. Черты эти соответствовали несомненно характеру чеховского дарования, но были все же сами по себе просто-напросто чертами русской жизни, которые могла бы Дю Босу явить сама чеховская или до-чеховская Россия, и с которыми могли бы ознакомить его десятки других наших « беллетристов », весьма скромно одаренных и нынче давно

забытых. Больше Чехова, вот это, русское, полюбил он в Чехове.

Что же именно ? Какие это черты ? — Отсутствие или непризнание перегородок, твердых преград между людьми. Простота и сердечность, а если бессердечность, то столь ж откровенная, отношений между ними. Прямота и безыскусственность чувств, задушевность разговоров. Недоверие и отвращение ко всему эффектному и показному, ко всякой позе и фразе. Несуровость насчет « слабостей » — чужих, а не только своих, и вообще готовность простить более прочная, чем готовность осудить. Это черты чеховских людей, но я думаю, все со мной согласятся, что это и черты очень широкого круга русских людей до Чехова, как и после Чехова, сохранившиеся до сих пор, как у русских за рубежом, как и у многих, без сомнения, в нынешней России. Мундиры у нас — всех родов мундиры — расстегивались легко, и не любили у нас « в мундире » ничего, кроме картошки. О людях судили « по человечеству » больше, чем « по закону » или по каким бы то ни было готовым правилам, — даже и в Петербурге, который по своей — не такой уж строгой — строгости, по весьма относительной чопорности своей, казался не совсем Россией остальной России. Все это, в прибавку к безбрежности страны, создавало то чувство свободы — не правовой, но бытовой — которое ощущали и западные люди, поселявшиеся у нас не на слишком короткий срок.

Однажды, лет тридцать назад, пожилой француз заговорил со мной в парижском кафе, увидев, что я читаю русскую газету. Только потому заговорил, что захотелось ему лишний раз высказать русскому свою любовь к России. Поехал он туда по каким-то делам, году в девятьсот восьмом, и прожил там два года. Выучился по-русски понимать, но не говорить: « ведь у

вас, в больших городах, и французский знают многие ». Больше туда не ездил. Испытывал тоску. « Времена теперь не те. Один мой приятель, промышленник, прожил там четыре года, обзавелся небольшим предприятием. В двадцатых годах с немалым трудом получил визу, поехал . . . Нет, нет, по стране вашей соскучился, на предприятие давно махнул рукой. Его выслали. Через год он имущество передал родне; тайно перешел границу. Так и пропал. Не было больше о нем вестей ». — Что же именно так пришлось по вкусу, ему и вам, у нас ? Объяснить это было не легко. Он все же попытался. Позже я слышал похожее от немцев, итальянцев, англичан. Это сводилось ко все тем же « чеховским » чертам. Простота и свобода в отношениях между людьми. Участливость. Теплота. Сказал бы он непременно и одно русское слово, если б его знал, — неверное, зыбкое слово, которое нынче с опаской приходится произносить: задушевность.

Вот и я, о чеховском говоря, — глянь ! — не подумал и выскользнуло оно у меня из под пера. А ведь, Боже ты мой, как оно испошлилось, опустилось ! Был ведь у нас в те самые годы, когда французы мои, буржуи мои, влюбились в Россию, журнал « Задушевное слово », расточавший задушевность свою « дорогим нашим деткам », как младшего, так равно и старшего возраста. Сам я в этом журнале о Мурзилке и друзьях его читал; в память этого журнала, должно быть, именно *слова*, разговоры русские задушевными и назвал. А нынче, включи радио и тотчас Москва заговорит таким приторным, таким « задушевным », ласковым этаким говорком — о чем угодно: об огурцах, как и о комсомольцах или космонавтах. Только все-таки, в прежней нашей литературе, когда говорилось « простое задушевное слово », как — во время прощанья — в тургеневском « Накануне », (где сказано, впрочем,

что неуместно было бы при *этой* разлуке « всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово »), когда велись у Николая Ростова с Наташей и Соней « задушевные разговоры в любимом углу », это еще не было чем-то ничего не значущим, лживым или напускным; золотом было, а не сусальной позолотой; и Левин в « Анне Карениной » не зря любовался Анной — « и красотой ее, и умом, и образованностью, и вместе простотой и задушевностью ». У Пушкина слово « задушевный » только раз встречается, в раннем стихотворении, где значит то же самое, что « закадычный », а « задушевность » тоже только раз, в письме об Анне Петровне Керн, написанном в ее присутствии и больше для нее, чем для приятеля (Плетнева), которому оно было послано. Говорится в письме о том, как « небесно » она пела « Венецианскую ночь » Козлова, « вдохновенного слепца ». « Жаль, что он не увидит ее, — пишет Пушкин, — но пусть вообразит себе красоту и задушевность — по крайней мере дай Бог ему ее слышать ». Здесь « задушевность » относится, вероятно, к голосу, к манере петь, быть может и к манере говорить, и присущ ей несколько другой (более чувственный) смысл, нежели у Тургенева и Толстого. Это их слово, больше, чем пушкинское; но только слово... Тому, чтó значит или значило это слово, нет лучшего примера, чем у Пушкина. Не знаю я ни на каком языке стихов столь задушевных, как эти:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей.
Выпьем с горя; где же кружка ?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

Но по-русски есть и другие. Пушкинская эта музыка чувства у нас не заглохла. Есть, например, и у Блока два стихотворения, несравненно более скорбные, беспросветно скорбные, но такие же — иначе не скажешь — задушевные: « На улице — дождик и слякоть . . . », « Похоронят, зароют глубоко . . . », и конец еще одного:

О как я был богат когда-то,
Да все — не стоит пятака:
Вражда, любовь, молва и злато,
А пуще — смертная тоска.

Вот, пожалуй, *эта* задушевность, не размениваемая на мелкую монету, иным из нерусских, выучившихся по-русски, что-то в нашем, во всегдашнем нашем, и приоткрывает, от чего нелегко им бывает оторваться. — А нам ? — Нелегко и нам.

*

Конечно, не сквозь одни стихи приоткрывает; да и приоткрывает не она одна. Спросим себя, однако, с чем она, задушевность эта, не совместима, и сразу возвратит нас вопрос этот к Чехову, к Дю Босу, к собеседнику моему в парижском кафе и его другу, потому что подлинная, не опошленная « задушевность » с чем же она несовместима, если не с накрахмаленностью, фразой, позой, с высокомерием, фарисейством, с отсутствием теплоты, искренности, простоты ? Простота; прежде всего простота. Недаром у Тургенева, у Толстого, в цитатах, мною приведенных, где задушевность, там и простота. Искони расценивалась она у нас положительней, чем где-либо, — а если отрицательно, в отношении простачков и простофиль, то со снисхождением, близким к умилению. Так мыслил и чувствовал у нас народ, « простой » народ; но простота и просто-

народность не то же самое, и не приклеены они одна к другой; даже в « опрощении » Толстого, барской, народнической затее, следует отличать осуждение барства и надежду найти простоту в крестьянстве от жажды простоты, самой по себе, где бы она ни была. С какой волшебной простотой говорит Пушкин о своей Татьяне: « Все тихо, просто было в ней »; и он же, в шутливом тоне, пишет жене: « Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос ». Тут надо учесть, что простота манер и тона почти что была принадлежностью аристократического этикета и что Пушкин, сквозь нее, искал другой, менее внешней, в Татьяне воплощенной простоты; чем, однако, не устраняется тот факт, что и Наталья Николаевна и Татьяна Дмитриевна владели крепостными и принадлежали обе к высшему сословию.

Дело не в сословиях, дело в том общерусском оттенке чувства, в силу которого подлинная, не условная только, простота связывается с теплотой, сердечностью (« задушевностью ») и в конечном счете с добром и правдой. « Он был простой и добрый барин » сказано об отце Татьяны, а Маша в « Капитанской дочке » говорит Гриневу : « Пойдем, кинемся в ноги твоим родителям; они люди простые, не жестокосердные гордецы ». Когда же Пушкину захотелось похвалить своего друга, бывшую фрейлину императрицы, Россет-Смирнову, он написал, от ее имени, такой эпиграф к ее будущим « Запискам »:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;

Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Наряду со свободой ума, откуда и трезвость взгляда, и ясность суждений, и злые шутки, без которых показались бы, пожалуй, пряником на елке простое сердце и детская доброта (но пушкинская задушевность никогда сусальной не становится), главное здесь — простота, правда, добро. И как чудесно это совпадает со словами Толстого в « Войне и мире », со словами, которые навсегда должны были бы запомнить все мы, русские: « Нет величия там, где нет простоты, добра и правды ».

Величие без великолепия. « Аркадий, не говори красиво ! » Или, уже не у Тургенева, а Достоевский в « Бесах » (несправедливо) о самом Тургеневе: « обточенно, жеманно ». Несправедливо, но не так уж несправедливо в устах человека, чье умозрение — глубже которого ничего у нас нет и не было — довольствуется почти сплошь самым « комнатным » средне-интеллигентским языком. Гоголь сорвался на верхней ноте и уже не мог вернуться к говорку. Толстой трудился над тем, чтобы фразу свою сделать неуклюжей. Да и многие из лучших у нас — побалуются, да и решат: довольно, теперь: « без медных инструментов ». Да откуда их и взять ? « Эти бедные селенья, эта скудная природа . . . ». « Спой мне песню, как синица *тихо* за морем жила . . . ». « Все *тихо,* просто было в ней ». Где нет этой тихой простоты, разве там бывает добро и правда ? — Знаю, знаю: и больших искушений не избежать на этом пути, и подделать все это легко; но думаю все же, что было много с этим связанного в прежней России, что не совсем исчезло оно и в нынешней, и что именно в этом надо искать ответа на

вопрос, отчего нерусские — да и русские — любят русское.

*

Тут, однако, сразу же возникают два новых вопроса: откуда все это у нас, и почему западные люди так же способны прельститься — и даже обольститься — всем этим, как мы сами. Отвечу я на оба вопроса одним, общим ответом, который, чего доброго, иных даже и разочарует незамысловатостью своей и краткостью: все это из Евангелия. Оттого другие христианством воспитанные народы могут вполне и почувствовать все это, и полюбить, даже и пребывая в слепоте насчет корней и причин, даже и не вспоминая о Евангелии или христианстве.

Родители Гринева, мы видели, — « люди простые, не жестокосердные гордецы ». Незадолго до того, в черновом наброске на тему о критике и полемике, Пушкин писал: « Если ты будешь молчать с человеком, который с тобой заговаривает, то это с твоей стороны обида и гордость, недостойная доброго христианина ». Выражение « добрый христианин » — готовое и чужое (галлицизм); вполне принимать его в серьез нельзя; но и помимо него осуждение гордости, как и « жестокосердных гордецов » — евангельское осужденье. Как и « Оставь нас, гордый человек », хоть и вложено в совсем, может быть, не христианские уста Старого Цыгана. Только Достоевский, в пушкинской речи, полностью перевел его своим « Смирись, гордый человек » на евангельский язык. Но если не Пушкин времени « Цыган », то Пушкин последних лет вряд ли бы стал против такого перевода возражать: гордость не осуждается ни вольнодумством, ни язычеством, и побеждает ее смирение. Он это знал. О духе смирения,

о ниспослании ему этого духа молился сам, в те годы, молитвою Ефрема Сирина.

Со смирением этим, гордецам неведомым, и кротостью, неотделимой от него, глубоко связано все то « простое », « сердечное », « задушевное », что мы в наследии и в окружении нашем любили, и что любили в них не мы одни. Связано издалека, в истоках, но все же так, что и сейчас легко эту связь восстановить. Смирение вместе с кротостью образует ту христианскую добродетель — лучше сказать: святыню — которую на Западе обозначает позднелатинское слово humilitas, среди язычников, некогда, бывшее презренным, как и все обозначавшееся им. Древняя Русь святыне этой предана была проникновенно, и еще в XVII веке светский автор Повести о Юлиании Лазаревской святость ее в этом всего охотней восхваляет, повествуя, как она « аки истовая мать » о вдовах и сиротах пеклась и всё, все службы и труды « сама собою творяше, а неразумныя рабы и рабыни смирением и кротостью наказуя и исправляше и на ся вину возлагаше ». Тут нет ничего непонятного и западным христианам, которые только, вместо наших двух слов, применили бы здесь свое одно, отсутствующее в нашем языке.

Так что прав, но не совсем прав был Тютчев:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный
Чтó сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Иноплеменный взор не всегда бывает и бывал так уж горд, как ему казалось. Замечал он порой и то, что в этой наготе — или всего лишь ненарядности, простоте — светит и сквозит. Иначе и не было бы никогда того, чтобы любили русское нерусские.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

Известен Западу и этот образ униженного, рабский вид принявшего Христа. Получил он даже в западном искусстве воплощение (всего глубже у Рембрандта) православному искусству неведомое, — не только не достигнутое им, но которого оно никогда и не искало. Верно только, что в целом западного христианства, как однако и восточного, вне России, не господствует образ этот над другими, и ни в какое время не проникнуто было им благочестие всего народа, как у нас, где и все, что стряслось с нашей Церковью, после пытки, учиненной ей Петром, ничего в этой евангельской, « евангелической » даже стороне народной (прежде всего) религиозности не изменило. Это — то есть воплощенность *этой* религии в самой жизни, в самой земле, в этих « бедных селеньях » и даже « скудной природе » — Тютчев увидел, как никто; хотя Достоевский и понял это еще полней. Быть может это открылось им так ясно именно оттого, что они оба, особенно Тютчев, столько лет прожили за границей.

Сама наша Церковь, на своих синодальных, да и вообще иерархических верхах, не кажется мне, чтобы очень ясно это видела. Икону Омовения ног особым почитанием не почитала. Царский образ Небесного Царя заслонял от нее удрученность Несущего крест, наготу Распятого, и боюсь, что почти безучастно глядела она на то, как религиозные в основе своей представления и чувства отходили от Церкви и как утрачивалось постепенно сознание их религиозности. Есть поразительное стихотворение Анненского, именно — решусь сказать — на эту тему:

В небе ли меркнет звезда,
Пытка ль земная все длится;
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться.

Время погасит звезду,
Пытку ж и так одолеем...
Если я в церковь иду,
Там становлюсь с фарисеем.

С ним упадаю я нем,
С ним и воспряну, ликуя...
Только во мне то зачем
Мытарь мятется, тоскуя ?

Мучительные стихи, и конечно рожденные подлинною мукой. Всего мучительней — « С ним и воспряну, ликуя ». Ведь это значит: воспряну, возликую с фарисеем и в качестве фарисея, даже когда в церкви поют « Христос воскрес ! ». Так, в конце жизни, чувствовал несомненно и Толстой. Обряд, песнопения, свечи, даже таинства, это все для фарисеев и проникнуто фарисейством. Мытарю в Церкви места нет. « Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях » или: « председания в Синоде и приветствия высокопоставленных особ ». В первом варианте, говорит эти слова Христос у Евангелиста Луки (11, 43) ; во втором, мог бы их сказать Толстой. Но в беседе с собой разве не вопрошал он никогда, вместе с Анненским: « Только во мне то зачем Мытарь мятется, тоскуя ? », и ведь осуждение фарисейства, ощущение близости своей к мытарю, откуда же они, если не из того евангельского русского христианства ?

Даже разучившись молиться, Толстой, и Анненский, и столькие другие с ними, все еще видят правду

в том « удрученном ношей крестной » образе Христа и христианского чувства жизни, что « сквозит и тайно светит » во всем у нас, к чему влекутся порой, что любят в нашем и другие. « Все тонет в фарисействе » еще вчера скорбел Пастернак (в первом из стихотворений доктора Живаго). Еще во многих душах нынешней России, прогнавшей тот высокий и благостный образ со своих полей, « мытарь мятется, тоскуя ». Он тоскует о том, чтобы вернулось забывшее свое имя христианство к имени этому и ко Христу, чтобы поняли наконец, откуда даровано было нам все то, что было и осталось дорого нам, и не нам одним: теплота, сердечность, простота, отвращение к пустым фразам и позам, чувство « единого на потребу »; поняли, на чем все это держится, на чем только и может держаться . . .

*

Выпьем добрая подружка
Бедной юности моей.
Выпьем с горя; где же кружка ?
Сердцу будет веселей . . .

А что ж Арина Родионовна ? Или нечего было ей сказать ?

После казни декабристов, когда над питомцем ее еще висела грозовая туча, писал этот питомец Вяземскому в Москву из Михайловского, куда он только что вернулся: « Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни — ей Богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву *о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости,* молитву, вероятно

сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом ».

Так что осерчал поэт ? Нет, это он только так, чтоб чувствительности не корчить. Нянюшку свою он в обиду не даст. Насчет « умиления сердца », пусть и не владыки, а своего, известно ему кое-что, и « укрощение духа свирепости » тоже вполне ему понятно. Да и пусть « попы дерут молебен ». Он знает: так нужно. Без этого сердцу никак не будет веселей.


II

КАТАЛОГ ЭРМИТАЖА

Когда вспоминаются мне давно знакомые, полюбившиеся смолоду картины великих, а порой и не столь уж великих мастеров, я снимаю с полки каталог Эрмитажа. Тот самый, двухтомный, в 58-м году вышедший, который заменил все прежние. Хороший каталог, полный, где перечислены все картины музея, включая и те, что нынче не выставлены и хранятся в его запасах. Много в нем иллюстраций (хоть и среднего качества), так что я часто там нахожу воспроизведенным, а если нет, то описанным вкратце то, что мне вспомнилось. Очень часто нахожу или, верней, всегда, потому что того, чего найти нельзя, искать было бы, разумеется, нелепо.

Чего же там нельзя найти ? Здесь, на Западе, это всякому ясно: картин, проданных при Сталине. Столь же ясно это хранителям Эрмитажа и, прежде всего, директору его картинной галлереи, редактировавшему каталог. Но в самом каталоге не только отсутствуют эти картины — отсутствует и всякое упоминание о их исчезновении. Составителям каталога об этой продаже, в которой, конечно, не они повинны, приказано было молчать. Приказ остается в силе и по сей день, хотя дело это — давнее. Картины — и какие картины ! — были проданы между 29-м и 36-м или 37-м годом. Они давно висят в различных иностранных музеях. Но в Советском Союзе об этом никогда не было сказано ни слова. Посетители Эрмитажа, да и все те, для

кого имена Рембрандта, Рубенса, Тициана, Рафаэля и другие в этом роде что-нибудь значат, или просто люди, любящие свою страну и желающие сохранения ее богатств, в известность об этом никогда поставлены не были. Культ личности был в свое время осужден, и сама личность, которой этот культ воздавался, опорочена, но лишь — наполовину: о мерзких деяниях ее распространяться воспрещено. Не подлежит огласке и этот сталинский подвиг, то ли потому, что продолжают его — втихомолку — одобрять, то ли потому, что в силу круговой поруки считают разделенной ответственность за это злодеяние. В предисловии к каталогу говорится о « вероломном нападении фашистских захватчиков на Советский Союз » и об отправке картин и прочего в глубокий тыл, осуществленной благодаря « исключительному вниманию Советского правительства к сохранению сокровищ Эрмитажа ». О том, однако, в чем выразилось это « исключительное внимание » за несколько лет до того, о « вероломном нападении » Сталина на эрмитажные сокровища, ни в предисловии, ни вообще в каталоге ровно ничего не сказано.

В 1964 году справляли двухсотлетие Эрмитажа, и, два года спустя, вышла по этому случаю книга « Эрмитаж за двести лет », коллективный труд хранителей музея, в котором излагается история и описывается состав различных его отделов, начиная со старейшего и главного — « Отделения живописи и скульптуры ». О продажах и тут — ни слова. Говорится, конечно, о приобретениях — при Екатерине, Александре I и т.д., но обходятся самым тщательным молчанием те поступившие в музей картины (и скульптуры), которых там больше нет. Выходит, что их в музее никогда и не было. Несчастные составители книги вынуждены в этом пункте лгать, и любой осведомленный ее читатель (например, заглянувший в любой старый каталог) не может их не счесть лжецами. Как это ни грустно, но

лжец по принуждению остается ведь все таки лжецом. А уж те, кто помнит эти картины, кто видел их в музее . . .

Читаю, например, что нидерландский XV век « представлен шестью картинами, из которых наиболее выдающимся считается редкий диптих Флемальского мастера — « Троица » и « Мадонна с младенцем ». Как же мне при этом не подумать: вам *приходится* это писать, хотя две эти картины быть может лишь старинные копии и к лучшим вещам их автора во всяком случае не принедлежат. Прежде не пришлось бы, когда « Благовещение » Яна ван Эйка находилось не в Вашингтонской Национальной Галлерее, а у нас, и когда рядом с ним висели у нас две створки складня « Распятие » и « Страшный суд » того же ван Эйка или быть может старшего его брата, принадлежащие нынче главному музею Нью-Йорка. Приобретены они были в Испании нашим послом Татищевым в 1845 году и завещаны им Эрмитажу, а « Благовещение » поступило туда при Николае I из знаменитого собрания голландского короля Вильгельма II, проданного с аукциона в 1850 году. Лишившись этих картин, весь этот отдел музея (включая и нидерландский XVI век) лишился лучшего, что в нем было. Покинули его к тому же и самые замечательные портретные работы этой школы. Портреты сэра Томаса Грэшема и леди Анны Грэшем кисти Антониса Мора нынче висят в амстердамском Рейксмузеуме; они поступили в Эрмитаж при Екатерине, в составе полностью приобретенного ею знаменитого собрания Роберта Уолпола. Осталось в этом отделе интересного и хорошего довольно много; совсем первоклассных картин в нем больше нет.

Читаю дальше, о фламандской живописи XVII века: « Исключительно богата коллекция картин Рубенса » или: « Двадцать пять картин, преимущественно портреты, ван Дейка ». Но где же все таки несравнен-

ный рубенсовский портрет Елены Фоурмент во весь рост ? Где лучшией наш ван Дейк — портрет Филиппа Уортона ? Другой, менее замечательный, портрет лорда Уортона в Эрмитаже остался, но этот, вместе с Еленой Фоурмент, отплыл оттуда, можно сказать, на первом же корабле. Еще в тридцатом году покойный друг мой Жарновский получил от бывшей своей сослуживицы по Эрмитажу без труда расшифрованную им открытку, где было сказано, что неожиданно для всех хорошо ему известная Елена Ф., в сопровождении англичанина Филиппа, отправилась заграницу, куда, повидимому, уедет и Титус Р. и Мария Альба, а быть может и другие их друзья. Действительно, последовали вскоре и другие отъезды: продана была и Мадонна Альба Рафаэля, и тот удивительный портрет, где высвечивает из глубокой ночи болезненное лицо Титуса, сына Рембрандта, — ну и пошло, поехало. Открытку я помню хорошо; первые две картины наверняка в ней были упомянуты, относительно двух других я менее уверен; но все равно: были, во всяком случае, проданы и они (Рембрандт — парижскому виноторговцу Этьенну Николя, он теперь в Лувре; Рафаэль — Эндрью Меллону, американскому богачу, бывшему министру финансов; картина теперь в Вашингтонской галлерее).

Продолжаю чтение. « Давно завоевала мировую известность коллекция картин Рембрандта, насчитывающая 25 произведений . Невинная, как будто, фраза, но как фальшиво и — прошу прощенья — как глупо она звучит для всякого, кому известно, что холстов Рембрандта в Эрмитаже было не двадцать пять, а сорок ! Ну а вы, составители, — скажет такой читатель, — разве вы этого не знаете ? Как же это вы так бойко пишете о « двух первоклассных мужских портретах Франса Хальса », когда их было у нас до покупки двух тем же Меллоном четыре, а не два ? Куда же годится исторический обзор, в котором об этом

не упомянуто ? Но вернемся к Рембрандту. Четыре его картины не были проданы, а были переданы Пушкинскому музею в Москве; но другие не хватающие, куда же они делись ? Вы молчите, но ведь вы прекрасно это знаете. Титуса купил у Сталина мсье Николя. Другой портрет, его же (в шлеме и со щитом, называвшийся у нас Паллада-Афина) и портрет старика, сидящего в кресле, с тростью в руках, выторговал у него же нефтяник Гюльбенкиан (в октябре 30-го года; обе картины находятся теперь в Лиссабоне). « Отречение Петра » — одну из значительнейших поздних картин мастера — приобрел три года спустя Амстердамский музей, вместе с еще одним портретом Титуса в монашеском одеянии, с капюшоном, того же 1660 года, что и « Отречение ». Чудесный этот портрет, с таким нежным светом на улыбающемся лице, сперва был « национализирован », поступил в Эрмитаж из Строгановского собрания, а затем верховный национализатор за хорошие деньги предоставил национализировать его Голландии. Около того же времени нью-йоркский антиквар Нёдлер (Knoedler), в той же национальной лавочке, для Меллона, купил « Иосифа и жену Пентефрия », « Портрет молодой женщины с цветком »; а затем и спокон веков прославленный « Портрет польского вельможи » (прежде называвшийся Яном Собесским) сбыт был туда же лавочником с рук, как и « Девушка с метлою », как — в придачу к этим эрмитажным — и еще одна строгановская картина (пейзаж); купил и ее мсье Николя, подарил и ее Лувру. В результате столь бойкой торговли наше единственное в мире по богатству собрание Рембрандта (сорока его картин не было и нет ни в каком другом музее) первенство свое утратило, и если превыше всех слов чудесное « Возвращение блудного сына » и сохранило, то лишь по недомыслию покупателей или потому, что не развязали они во-время кошелька: всем

было известно, что кремлевский старьевщик охотно распрощался бы с ним за четыре миллиона долларов.

Вообще на Западе все, кому ведать надлежит знали, что через крупных торговцев картинами, выбрав по каталогу, можно было купить любое из эрмитажных сокровищ. Широкой огласки делам этим не давали, действовали не спеша, умножать числа покупателей не стремились, а продавцу было объяснено, что распродавать Эрмитаж с молотка или вообще оптом невыгодно: это вызвало бы на антикварном рынке немедленное и безудержное падение цен. Именно «железному» этому закону спроса и предложения наш музей и обязан тем, что насчитывает все еще 1313 голландских картин, из которых выставлены 426, и 576 фламандских, из которых выставлены 171. Цифры эти, как и другие, не без намерения щедро приводятся в книге об Эрмитаже за двести лет. Но ведь тридцать пять сохраненных Воуверманов ни на каких весах не перевесят и одного проданного Рембрандта; да и портрета Елены Фоурмент не заменит ни один из многочисленных оставшихся у нас Рубенсов, хоть и сохранили мы каким-то чудом среди них изумительные эскизы декоративных сооружений, воздвигнутых в Антверпене по случаю въезда инфанта-кардинала, нового правителя Нидерландов. Количество во всем этом деле ровно ничего не значит сравнительно с качеством. Покупатели нашего национального имущества хорошо это знали, да и услужливый их поставщик, видимо, смекнул, что есть расчет продавать лишь самое лучшее и дорогое...

*

Вот я двухсотлетие Эрмитажа и справил, отложил в сторону книгу, плохо ознакомившись с историей других его отделов (ограбленный был ведь все же, да и остался, главным); перелистываю вновь те толстые два тома — печальный каталог, печальный от-

того, что в нем нет картин, которые были в старых каталогах; да и не только печальный, а еще и жалкий, презрения достойный, оттого что об отсутствии их должен молчать, и молчит.

Раскрываю первый том: итальянская, испанская, французская живопись. Рафаэль. Его ранняя « Мадонна Конестабиле », что и говорить, мила; и « Мадонна с безбородым Иосифом » — тоже вещь хорошая. Но ведь « Мадонна Альба » была куда значительнее, а с ней вместе, заботами Меллона, и прелестный маленький « Святой Георгий » переселился в Вашингтон, как и — все его же стараниями — одна из лучших вне Италии картин Боттичелли « Поклонение волхвов », а также триптих Перуджино, так называемый Голицынский (по его прежнему владельцу), одно из наиболее живых и совершенных произведений этого мастера, и одно из последних эрмитажных приобретений Меллона: он его купил в 36-м году. Но еще до этого приобрел он (а затем передал той же галлерее) самого необыкновенного нашего Тициана, « Венеру перед зеркалом » — вещь редкостной сохранности и волшебного мастерства. Больше сорока лет прошло с тех пор, как я ее видел в последний раз; а помню отчетливо теплоту, расплавленность письма, просвечивающий повсюду грубый холст и с неизъяснимой легкостью положенные на него красочные мазки, из которых родятся, Бог знает почему, и бархат, и мех, и плоть, и пестрое крылышко держащего зеркало амура. Была у нас среди итальянских и еще одна исключительного волшебства картина — « Пир Клеопатры » Тьеполо. За нее боялись. Живопись ее казалась хрупкой. В конце первой войны, при отправке картин в Москву, большое полотно это свернули. Когда разворачивали после возвращенья, Александр Николаевич Бенуа заплакал от радости: « Пир Клеопатры » был невредим. Но в Кремле не дремали: нынче он

составляет главное украшение Мельбурнской картинной галлереи.

Лучший наш Веласкес, погрудный портрет папы Иннокентия X — эскиз для большого портрета в римском палаццо Дориа-Памфили (или собственноручное повторение центральной его части) также был приобретен Меллоном и подарен Вашингтонской галлерее. Лучшие наши картины старых французских мастеров тоже переплыли океан, хоть и не все на его счет, и попали — « Мальчик с карточным домиком » Шардена сюда, « Меццетен » Ватто в Нью-Йорк, а « Триумф Амфитриты » Пуссена в Филадельфию. Два пейзажа Гюбер Робера (у нас их много, но не все столь хороши) приобрел Гюльбенкиан, и он же — восхитительную мраморную « Диану » Гудона. Сам скульптор продал ее Екатерине; морским путем прибыла она в 1784 году в Петербург; морским же путем в 1930 году была — за ненадобностью, должно быть — отправлена обратно. « Обойдемся и без нее. Обойдемся и вообще без всего этого барахла, тем более, раз ослы-буржуи готовы платить за него фунты и доллары ». Нечто подобное, нужно думать, попыхивая трубкой, бормотал себе под нос ломовой извозчик, в те годы правивший Россией и стегавший ее, свою клячу, по глазам. Мог ли он мыслить иначе ? Денежки заграничные всегда могли ему пригодиться для его заграничных темных дел. Ну, а там « Тьеполо », « Ватто » — забавных этаких слов ему и выговаривать никогда не приходилось. Да и не такие числятся за ним дела: в крови он по горло — не за холст, не за олифу счет ему предъявлять. С него и взятки гладки.

Но печаль-то вся в том, что насчет казней и лагерей у наследников и бывших сообщников его все же вырвался вопль, а об этом — не мокром, а всего лишь гнусном деле хранят они прехладнокровное молчание, никому, вместе с тем, и пикнуть о нем не разрешая.

Вот и выходит — понимаете ли вы это, властители и судии ? — что сама Россия, всех этих Тицианов и Рембрандтов и Рафаэлей выбросила за окно — на что, мол, они, обойдусь и без них; что сама Россия, включая ее художников, писателей, историков, музейных работников, всю интеллигенцию ее, о позорном этом деле молчит просто потому, что не считает его позорным и вовсе не испытывает потребности высказать сожаление о нем и кого бы то ни было в нем винить. Я — русский и знаю, что это не так. Но перед иностранцами — эх вы, хозяева страны — стыдно мне: за Россию стыдно.

*

Так-то порой и расстроишься совсем, перелистывая эрмитажный каталог. Начнешь с воспоминаний, добрых и светлых, а подумаешь о том, как обезглавили музей, сливки сняли с его картинной галлереи, и почувствуешь горечь, злобу, но всего острей именно стыд, при мысли о том, что молчат и молчат об этом тридцать лет, восхваляя, как ни в чем ни бывало, заботу властей, « исключительное внимание Советского правительства к сохранению сокровищ Эрмитажа ».

Подымаюсь мысленно вновь меж блестящих желтомраморных стен по лестнице, именуемой нынче « халтуринской » (хотя покушался Халтурин, да и то неудачно, спровадив на тот свет ни в чем неповинных людей, не тут, а рядом, на царя, а не на картины; назвали бы ее лучше « сталинской ») ; поднимаюсь по лестнице этой, как бывало, как в последний раз утром, в день отъезда — 1924 год, июль . . . Поднимаюсь медленней, чем прежде, по лестнице, довольно крутой, и предвкушаю . . . Нет, ничего я не предвкушаю: думаю невольно не о том, что увижу, а о том, чего не увижу. Вкрадчивый чей-то голос утешать меня пытается:

— Нечего грустить. Вот сейчас с площадки на-

лево загнешь и в колонном зале, на Миллионную выходящем (то есть, тьфу, Хал.., но все равно) твоего Пуссена и найдешь: « Пейзаж с Полифемом ». Прислонись к колонне и гляди, гляди, как глядел, словно во сне, когда было тебе всего четырнадцать годков, да и позже сколько раз... А если не там он, экая беда? В Эрмитаже он, ты ведь знаешь: « Амфитриту » продали, а не его. И парную к нему картину, « Геркулеса и Какуса » не продали, а в Москву отправили.

— Это зачем же? Послали бы другое что-нибудь. Кто же таких двойников разлучает? Я и тот пейзаж, почти так же, как этот, любил, да и « Амфитриту »... Не хватает мне ее...

— Ишь ты — не хватает! Поезжай в Америку. Существует « Амфитрита » — будь доволен и тем. А двойников они чуть ли не всех поделили. Так, мол, справедливей. Половина тут, половина в Москве. Не в Эрмитаже это придумали, и не музейные, конечно, люди. Другие, надмузейные. Они эрмитажных спросили: у вас французишки этого допотопного сколько осталось холстов? Те подсчитали; всё, что, могли, присчитали; говорят: семнадцать. Что ж, мало вам этого, что ли? Согласись, ведь немало. Да и хороших осталось четыре или пять. На этот манер и обо всем прочем суди. Ведь и под вожжой Джугашвили, кроме ван Эйков, ни одной картины не продали, которая была бы единственной ее автора в музее. О всех прочих знаменитостях, ежели спросят, есть они у вас в Эрмитаже? — ответ будет всегда: были, значит, и есть. Из бесчисленных посетителей, огромное большинство ни о каких исчезновениях и не подозревает. « Мадонна Альба » одно время заменена была копией; покрасовались тут и в других залах извещения: «Картина в реставрации»; но теперь развеска новая, и все это давно забыто. Забудь и ты. Зачем тебе портить удовольствие — свое, да быть может и чужое? О своем ты только подумай:

разве ты тициановских Севастьяна и Магдалину не любил, а лишь одну « Венеру перед зеркалом » ? Разве нежнейшее « Поклонение Богородицы и ангелов Младенцу » Филиппино меньше тебя умиляло, чем Боттичеллиево « Поклонение волхнов » ? Или «Юдифь» (быть может, и впрямь Джорджоне) меньше интриговала и привлекала, чем тот — превосходный, правда — Перуджино, который ведь к особым твоим любимцам никогда не принадлежал ? Вот и входи — пусть хоть мысленно — в итальянские залы, восхищайся, как прежде, скорбным, вечерне-серебристым, словно похолодевшим « Плачем над снятым с креста Спасителем » Веронезе, еще недостаточно оцененным (оттого его, вероятно, и не продали), да и многим другим... Караваджо не забудь. На большого Прокаччини (Джулио Чезаре) погляди, перед которым восьмидесятилетний Липгардт, видимо забыв, кто ты, на изысканнейшем французском языке времен Второй Империи тебя спросил: « Как вы находите лицо Мадонны ? Я им очень горжусь. Это, в сущности, теперь моя работа ». Поблагодари в испанском зале Сурбарана за « Святого Лаврентия », которым, еще в отрочестве твоем, он тебя пронзил и покорил; поклонись « Поклонению пастырей » Маино, этого итальяно-испанского почти-Ленэна: Луи Ленэна (имя его не произносится « Майно », как воображают в Эрмитаже); разыщи Мурильо с большим ландшафтом, удивись ему опять. А потом будут тебе и Рубенсы, Иордансы и мало ли еще что, и на цыпочках войдешь ты в рембрандтовский зал...

— Перестань, перестань, — отвечаю я, усевшись на тяжелый диван спиной к огромному Каналетто (« Прием французского посла в Венеции »), — я отлично знаю, что много знакомого, мною любимого здесь осталось; знаю, что и прибавилось многое — путем реквизиции у частных владельцев, с ликвида-

цией оных или без нее (этого на картинах не прочтешь); но чем же это может поправить то непоправимое, что было сделано? Ни одной картины, равной по качеству и значению проданным, Эрмитаж не получил ни после продаж, ни в годы, предшествовавшие продажам. Лишился он всего тридцати пяти или сорока картин, — из них нынче двадцать одна в Вашингтонской Национальной Галлерее — но эти сорок картин составляют две трети лучшего, что в нем было. Если последнюю треть убрать, останется огромная галлерея, но... Да не стоит об этом и говорить.

— Ты меня перебил, но я ведь собирался не только о твоем собственном удовольствии сказать, которое ты зря себе портишь, но и о чужом. Мыслено ты, ясное дело, в роскошном одиночестве по залам гуляешь да по диванам восседаешь; а ведь тут каждый день — полным полно, протолкнуться нельзя. Видел, небось, в «Эрмитаже за двести лет» картинку «Культпоход рабочих Ижорского завода»? Чуть не приступом собираются взять Зимний дворец и музей. Только снимок этот был сделан почти двадцать лет назад. Теперь и походов не надо, сами идут. Много молодежи. Недохвата картин заметить нельзя. Знаменитые имена, как и прежде, все налицо. Эти люди довольны...

— Они довольны, но ведь они все-таки обмануты. Если бы у хозяев страны была совесть, соответственное министерство разрешило бы или порекомендовало дирекции Эрмитажа где-нибудь неподалеку от главного входа в картинную галлерею разместить на щитах фотографии всего того что было сплавлено заграницу, а в предисловиях к ее каталогам прилежно об этих продажах упоминать, и, кроме того, выпустить отдельную книгу или брошюру, где вся история их была бы полностью изложена. Но ничего подобного не делается. Делается обратное: даже иностранным авторам, издающим заграницей книги об Эрмитаже, вну-

шается (очевидно, под страхом неполучения иллюстрационных материалов) о продажах не упоминать. Накануне пятидесятой октябрьской годовщины вышла очередная книга такого рода, весьма роскошно изданная. Ее угодливый составитель о продажах не заикнулся, зато превознес Эрмитаж до небес: один лишь Лувр может с ним сравниться (что было ложью и прежде, но стало сугубой ложью после продаж), а также соловьем расщелкался насчет того, что, будто бы, до революции музей был мало кому доступен. Очевидно, я сызмалу принадлежал к совершенно особому « счастливому меньшинству », а то и приходился родственником, сам того не зная, покойному государю. К счастью, не обо всем одинаково удобно лгать заграницей и лгать у нас. Небылицами о западных порядках удобнее потчевать тех, кто не бывал на Западе; сеять клюкву насчет прежней России можно и в России, но не столь беспрепятственно, как среди тех, кто не имеет о ней ни малейшего понятия. Составители книги о двухсотлетии музея все-таки пишут: « Накануне первой мировой войны Эрмитаж посещали до 180.000 человек в год ». Нынче посетителей этих, как и в западных музеях, во много раз больше — так много, что они, как и на Западе, мешают друг другу. Увидеть по-настоящему то, что видишь, становится трудно. Не в этом, однако, дело: здесь ведь и одним глазом не увидишь того, чего тут больше нет.

— Ты все о своем. Да им-то, сотням тысяч, миллионам — какое до этого дело ? Огромный, великолепный музей ! Они здесь учатся, пополняют образование или — как это говорится ? — повышают культурный уровень. Не все ли равно — если думать о них — увидят ли они еще одного Тициана, еще одного Веласкеса и вообще те картины, которые они прежде могли бы здесь увидеть ? О чем ты хлопочешь ? О чем горюешь ? Хлопочи, чтобы воскресли отцы этих

людей, погибшие здесь во время войны, замученные в лагерях при Сталине. А если ложь тебе так уж противна, горюй о том, что вся « власть советов » только и держится ложью; что всю пятидесятилетнюю историю свою она изображает лживо; что не лжет она только в тех случаях, когда не видит надобности лгать, или когда знает твердо, что решительно никто не поверит ее лжи. Да ведь и вся ложь насчет этих картин заключается просто в молчаньи, в утаиваньи истины. Уж если бы они от *этой* лжи отказались, в таком безгрешном, для них, грехе покаялись, — как бы высмеял их тот мертвец, что заменяет им совесть, их божок, главный их божок . . .

— Знаю. Но живые — те, что здесь толпятся целый день, или хотя бы лучшие из них — разве не заслуживают они, чтобы им сказали правду ? И разве они все, даже и лучшие эти, только для наглядного обученья сюда и ходят ? Для обученья чему ? Довод этот мне кого-то напомнил. В живых его нет. Да я его и не знал. Федор Иванович Шмит. Странно, никогда его не видел, и все же лично к нему — не просто к писаниям его — отношу то чувство, которое всплыло во мне, когда я о них вспомнил. Горестное чувство: смесь отвращения с жалостью и с остатками уваженья.

*

До-октябрьский Федор Иванович был доцентом Харьковского университета и очень неплохим византинистом, первым издателем знаменитых мозаик константинопольской церкви Хора (Кахрие Джами). В середине двадцатых годов вышел (на немецком языке, в Берлине) другой его весьма ценный труд, еще до войны приготовленный к печати: издание столь же знаменитых и более древних мозаик церкви в Никее, тем временем погибших (церковь разрушили турки во

время греко-турецкой войны). Но тем временем разрушению подвергся и сам Федор Иванович: Октябрь (это не единственный случай) свернул ему на-сторону и сознание и совесть. Византийские свои штудии он забросил, а историю искусства стал перекраивать на марксистский лад — тем грубейшим способом, который несколько лет спустя более мозговитыми марксистами (даже и Советского Союза) был объявлен « вульгарным социологизмом » и тем самым был ошельмован (нужно надеяться — навсегда). Карьеру сделать он, однако, успел: был назначен директором Всесоюзного Института истории искусства. Тогда же (в 1925 году) вышла излагающая его или вскормленные им в себе воззрения книга « Искусство », а в 32-м году, то есть уже после того, как началась продажа эрмитажных картин, появилась на французском языке, в журнале « Музей », издававшемся Комитетом интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций, его статья, частью резюмирующая те же теории, частью же ведущая их дальше, в сторону оправдания (хоть и всего лишь подразумеваемого) тех практических мер, о которых там прямо не говорится, но которые как раз тогда были в отношении Эрмитажа приняты.

Рассуждал Федор Иванович как нельзя более просто. Все привычные толки о безотносительной ценности искусства объявлял он совершенно устарелыми. Художник — представитель своего класса. Произведения его выражают потребности, цели и чувства этого класса, чем их форма, как и их содержание, строго предопределены. Искусство было во все времена агитационным, рассчитанным на классовую пропаганду. Нечего поэтому восхищаться мастерами, превозносимыми до небес в капиталистическом мире, и наполнять их изделиями музеи пролетарской страны. Все старое искусство — « старым надо почитать все, что сделано до 1917 года: оно доисторично » — может иметь « для

нас » не больше, чем документальный, социологический интерес. Джотто надлежит ценить как представителя феодальной эпохи. Рафаэль, хотя и писал Мадонн, выражает в своем искусстве первую волну капитализма — в этом и все его значение. Отчего искусство Тинторетто столь трагично, столь мрачно ? Бужуазные историки этого не знают, а мы знаем: в середине XVI века Венеция потеряла монополию на ввоз соли в Европу — как тут не помрачнеть ? Все эти важные исторические свидетельства не следует уничтожать, как и воспевающие сытое мещанство картины Рубенса, Хальса или французских мастеров прошлого века. Но музеи, обладающие ими, должны заботиться прежде всего о надлежащем их истолковании. Письменно и устно необходимо твердить посетителю о феодализме, капитализме и всех вообще социальных предпосылках того, что он видит перед собой, дабы он извлек из памятников старого искусства все содержащиеся в них уроки. Советские музеи в этом деле давно перегнали отсталый буржуазный мир...

Статью свою впавший в детство от подобострастия, хоть совсем еще и не старый Федя Шмит кончал восторженной похвалой советской музейной политике. Отдавал ли он себе отчет в том, что бок-о-бок с Тинторетто (чьи холсты чаще бывают потемневшими, чем мрачными) Веронезе писал радостные свои холсты — Бог весть ; но ничего не знать об утечке картин из эрмитажной галлереи он не мог. И, конечно, его статья даже и этого рода « музейную политику » полностью оправдывает. Если Рубенс и Рафаэль ценятся лишь как поставщики классовых исторических документов, то кому же, кроме капиталистов, нужны оригиналы их картин ? Да и приличных размеров фотография с картины Тинторетто даст ровно столько же матерьяла, как она сама, для недомыслия по части соляной монополии. Копии, фотографии следует даже и предпо-

честь оригиналам: они менее способны привлечь внимание зрителя еще и чем-нибудь другим, кроме своих классовых качеств. А если так, то, распродавая Рафаэлей и Рембрандтов, мудрая власть проявляет не только хозяйственную, но и более высокую мудрость.

Следовало бы распродавателю, переслюнив бумажки, еще и наградить Федю орденом Красного Знамени.

*

Прошло много лет. Отмалчиваются. Продолжают молчать. Зато любят распространяться о « просветительной » или « научно-просветительной » работе музея. Но, по мнению нынешних хозяев, по их партийному мнению, чему же должны « массы » обучаться, как не тому, чему любая картинка в курсе политграмоты с тем же успехом могла бы их обучить ? Благоглупости о соляной монополии и другие в том же роде сданы в архив, но отнюдь не самый принцип партийной идеологической муштровки и не « классизм » как одна из основ этой идеологии. Без « классизма » и представить ее себе нельзя, как идеологии гитлеровской без расизма. Но и независимо от этого, покуда, вы, нынешние, ясно, во всеуслышанье не осудили Сталина за его « музейную политику », как же нам не опасаться, что вы еще и сами к ней вернетесь ? Покуда вы от Сталина, перечислив все гнусные дела его, не отреклись, как же нам — то есть как России — верить, что вы не вернетесь к Сталину ?

Бог с ним, с каталогом, и с книгой о двухсотлетии музея. Нет, лучше их с полки не снимать, лучше не вспоминать. Вот я теперь от печальных мыслей этих и оторваться больше не могу: все воображаю себя на том диване, спиной к « Приему французского посла ». На левой от меня стене, сразу после двери, — великолепный Строцци « Исцеление Товита » (какой он

был колорист в лучших своих вещах !), а направо, посреди залы, « новое приобретенье » (даровое, у Мусина-Пушкина взяли) : « Гибель Адониса », мраморная группа, риторически « роскошная » (но превосходная все же) Маццуолы. Сейчас встану — хочу поближе посмотреть « Юную Деву Марию посреди подруг », нарядную, но по-домашнему, большую картину Гвидо Рени редкостных светлых тонов, столь занимавшую меня — в детстве ? Да, почти что в детстве. Но тут — чьи-то шаги в соседнем зале, кто-то идет сюда, в « Большой просвет ». Начальство здешнее ? Да ведь это университетский мой товарищ ! Поседел, постарел, как я, но узнаю. И здесь, в этих залах, позже мы с ним встречались. Он уже служил тут. Поступи сюда и я, дослужился бы, пожалуй, до его чинов. А в тридцатом году, когда, Елена Фоурмент « уехала заграницу » . . . Брр ! И этот обет молчания. Чего он только не натерпелся — и тогда, и за все это время . . . Владимир Францевич, милый ! Но что же я ему скажу ? Обнял бы его, а потом ? « Друг мой, не хотел бы я быть на вашем месте. Как это вы . . . »

Слава Богу, что это — мечта, пустая, пустая мечта.

ИСКУССТВО ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

К концу прошлого века в русском искусстве наметился очень значительный перелом, полностью определившийся в первые годы нового столетия. Произошла не просто очередная смена поколений и не просто возникло новое направление в живописи или другом искусстве, а совершился переворот гораздо более глубокий и более широкого охвата, в результате которого оказалась обновленной вся художественная, литературная, как и вся вообще духовная жизнь страны. Не искусство только, — изменилось и отношение к искусству: возросли требования, предъявляемые ему, резко повысилось уделявшееся ему внимание. То, что нравилось, перестало нравиться. То, чем довольствовались еще недавно, стало казаться убогим и провинциальным.

Рёскин уверял на склоне лет, что за всю жизнь не повстречал верующего христианина, который всерьез интересовался бы искусством. Так и шестидесятники, « интеллигенты » — в особом, русском, политически окрашенном смысле этого слова — пеклись исключительно о том, что почитали за благо, в искусстве же видели всего лишь подсобное средство высказывать мысли, которые, не будь цензуры, отлично можно было бы высказать самым пешеходным (как говорят англичане), самым газетным языком. Этим верования их отличались от религиозных, но преданы они им были религиозно, отчего и сохранили власть над умами дольше, чем на одно десятилетие. В девяностых годах, однако, власть эта уже ослабевала. Образованные люди, даже и не становясь консервативнее, чем прежде, стали ускользать из-под прежней идеологической опеки; под-

чиняться ей беспрекословно продолжали почти одни лишь читатели просветительных брошюр, « полуинтеллигенты » кличку эту как раз и получившие от интеллигенции обновленной, уже не состоявшей сплошь из людей скроенных по шестидесятнической выкройке. Политическая тенденциозность перестала быть мерилом художественной оценки, а то и стала оцениваться отрицательно. Уже в 1883 году Врубель, по поводу выставки верных шестидесятым годам Передвижников, жалел о том, что « художник не вел любовно бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже запечатлеть свою тенденцию в зрителе ». С него, Врубеля (1856-1910), Левитана (1860-1900), Серова (1865-1911) освобождение живописи и началось. О скульптуре можно сказать, что начал освобождать ее Трубецкой (1866-1938), а чтобы судить о быстроте, с которой теперь зашагала история, достаточно вспомнить, что сверстник его, Кандинский (1866-1944), был старше Борисова-Мусатова (1870-1905), Бенуа (1870-1960), Сомова (1869-1939), Бакста (1868-1924), Дягилева (1872-1929) и всего на год моложе Серова.

Москвич Кандинский славу себе создал в Мюнхене, куда отбыл еще в 1897 году, том самом, когда родившийся и выросший в Италии князь Павел — или Паоло — Трубецкой приехал, по вызову государя, в Москву, где и стал учить лепке не с гипсов, а с живой модели; в 1906 году он вернулся заграницу и до конца своих дней жил в Париже и в Италии. Врубель, Левитан и Серов заграницей бывали, и живую, несалонную западную живопись знали лучше, чем кто-либо в России до них (хоть и очень характерно, что в молодости Врубель увлекался знаменитым Фортуни, не разглядев его ничтожества). Борисов-Мусатов числился учеником Кормона, но восхищался в Париже больше Пювис де Шаванном и Гюставом Моро. Бенуа, Сомов и Дягилев основали в Петербурге журнал « Мир искусства »

(1898-1904), служивший проводником западных воззрений и течений, как и его наследники — московский журнал « Золотое руно » (1906-1909) и петербургский « Аполлон » (1909-1917). Идеям Бенуа, Дягилева (который ни живописцем, ни писателем не был, а был организатором, реформатором вкуса, что в те годы было столь же важно), и мастерству таких художников, как тот же Бенуа, Коровин, Головин, Добужинский и немного позже Сапунов обязана своим обновлением декорационно-постановочная сторона русского театра, сперва проветренная западным ветром, а потом и сама послужившая образцом для Запада. В тех же журналах, в тех же художественных кругах взращивалась с таким же усердием и книжная графика, поначалу точно также следуя западным примерам (главным образом английским и немецким). В 1904 году обложка и заставки литературного журнала « Весы » исполнены были по заказанным в Париже рисункам Одилона Редона, но это было уже последним отголоском ученичества, и в 1914 году, на преждевременно закрывшейся из-за войны Лейпцигской выставке книги и книжной графики, своеобразие русского вклада в этого рода художество получило всеобщее признание, и русский павильон (организованный редактором « Аполлона » С. К. Маковским) имел исключительный успех.

Таким образом, новый режим русского искусства обусловлен был с самого начала сближением его с подлинной художественной жизнью Запада, которая в течение полувека оставалась попросту России неизвестна, была заслонена торжествовавшим повсюду официальным псевдоискусством и безвкусием. Этот новый режим противополагался старому не столько даже силою выдвинувшихся при нем больших талантов и блеском их произведений, сколько самим создавшим его изменением вкусов, оценок и теми новыми горизонтами, которые он открывал не одной живописи и скульп-

туре, но всякому вообще и особенно так называемому прикладному художеству. Недаром все это движение соприкасалось в своих истоках с немецким « Югендштилем » и с родственными ему обновительными движениями в Англии, Франции, Бельгии, Голландии и скандинавских странах. Оттого-то новому поколению и стала казаться провинциальной не одна только недавняя живопись (Шишкина, например, или Верещагина, а то и Поленова или Васнецова), не одна только скульптура (Антокольского или Бернштама), но и вся старорежимная домашняя утварь, домостроительство в лжерусском « петушковом » стиле, пестро-коленкоровые переплеты книг с барельефно вытесненными портретами их авторов, как и всяческие претенциозно-роскошные « произведения искусства », вроде того, что описано в озаглавленном этими словами рассказе Чехова. Пересмотр коснулся и всего художественного прошлого. Картины Эрмитажа ожили, — вследствие чего померкли, в другом музее, неподалеку, и « Последний день Помпеи » Брюллова, и « Фрина » Семирадского, и репинские « Запорожцы, пишущие ответ турецкому султану ». Заново была открыта прелесть старого Петербурга, красота древних икон, величие древнерусской церковной архитектуры. Тому, кто нынче захотел бы наглядно ощутить различие между совсем еще в те времена недавними воззрениями и вкусами и теми, что им так быстро шли на смену, достаточно будет перелистать очень распространенную в начале века « Историю искусства » П. П. Гнедича в трех томах, а затем заглянуть в тот же « Аполлон », или в « Историю живописи » Бенуа, или в незаконченную, как и она, первую, выходившую до 1914 года под редакцией Игоря Грабаря, « Историю русского искусства ». Контраст, который предстанет его глазам, красноречивее всяких рассуждений. Это — контраст культурных уровней, а не отцов и детей в одной и той же культурной среде. Невозможно

себе представить сколько-нибудь образованного человека, где бы то ни было в сегодняшнем или вчерашнем мире, который — прочитав ли, или только взглянув на эти книги — предпочел бы Гнедича Бенуа или Грабарю.

Но это резкое повышение уровня, это быстрое приближение к западноевропейским понятиям, вкусам и оценкам, не могло не быть по началу достоянием довольно узкого круга людей и на всю ширь страны распространялось, исходя из двух столиц, не в таком уж скором темпе. Кроме того « Югендштиль », как и бельгийский, французский, английский « стиль модерн », около 1905 года повсюду оказался модой, вышедшей из моды (на пятьдесят лет, после чего он вновь стал модой, но уже ретроспективной). Никакого подлинного стиля, прочно укорененного в архитектуре, из него не получилось. Архитектура двинулась было в сторону неоклассицизма (в России, неоампира), но ее быстро осилил инженерно-технический функционализм, оторвавший ее от живописи и скульптуры, которые стали устремляться — сквозь кубизм или минуя его — к беспредметности (отказу от изображения). « Мир искусства », в связи с этим, стал терять свое влияние, — сперва в Москве, где оно всегда было слабей, потом и в Петербурге. Его мастеров упрекали в том, что их произведения предполагают слишком большое знание о прошлом (об этом уже говорилось в первом номере « Золотого руна ») ; ставили им в вину декоративность, подмену живописи расцвеченной графикой, « литературность » выбираемых ими тем. Жалобы эти — отчасти справедливые — участились и перемены предвещавшиеся ими с полной ясностью определились к 1910 году, когда состоялась первая выставка группы « Бубновый валет », а Кандинский в Мюнхене написал свою первую абстрактную картину. Перемены эти не могли не проистечь из все более тесного сближения с западным искусством. Оно привело к ориентировке на Париж.

и на все « последние слова », сказанные в Париже, тем более, что услышать их можно было и у себя дома, благодаря собирательскому пылу, проявленному московскими купцами Щукиным и Морозовым, а также выставкам французской живописи 1908 и 1909 года в Москве, 1912 года в Петербурге. Но сыграл тут роль и грубоватый натиск людей неотесанных, которых « последнее слово » освобождало от традиций и авторитетов, позволяя им выдвинуться при наличии хотя бы небольшого дарования, а то и просто заменяющей его в таких случаях отваги.

При всем том, искусство в России обогащалось, а не хирело; о недавней скудости своей больше и не помнило. Так встретило оно 1914, потом 1917 год.

ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Одним из главных последствий разгона Учредительного Собрания и захвата власти Лениным был исход из России очень большой части русской интеллигенции (в самом широком, на этот раз, смысле этого слова). Много писателей ее покинуло, но еще больше художников; им, как и музыкантам, легче было принять это решение: трудам их переводчики не нужны. Позже, иные из оставшихся уехали, иные из уехавших вернулись; но на первых порах среди оставшихся (и не готовившихся уезжать) главным образом числились те, которые либо все новшества отвергали и Запада чуждались, либо числились, напротив, среди самых крайних новаторов и бунтарей. Первым пришлось запастись терпеньем, хоть и не надолго; вторых ожидал пышный, но кратковременный триумф. Первые выбрали правильно; вторые ошиблись. Их обманула метафора. Они вообразили, что революция и « революция в искусстве » — то же самое. Революция их за это наказала.

Вначале, само собой разумеется, не могла она их

не приголубить, с таким энтузиазмом бросились они к ней в объятия. Но уже и вначале заметны были у новых хозяев страны, революцию эту сделавших и ее в себе воплощавших, некоторые колебания насчет того, чего надлежало от искусства ждать и какого нужно было желать искусства. Управлять соответственным комиссариатом посажен был, правда, Луначарский, Анатолий Васильевич, отчасти даже и литератор, долго живший за границей и считавшийся в своей партии светочем культуры. О расплодившихся к тому времени « измах » он кое-что слышал, знаком был со склонным к кубизму Натаном Альтманом, знал, что в Германии хорошо знали Кандинского, ведать же искусством в Наркомпросе поручил своему еще лучше во всем осведомленному (он учился живописи за границей) приятелю Давиду Штеренбергу, возглавившему в начале 1918 года ИЗО — Отдел Изобразительных Искусств. С точки зрения самых последних « измов », название Отдела могло показаться контрреволюционным, так как от изображения эти «измы» как раз и отрекались; но если Штеренберг и его старшой отсталыми прослыть отнюдь не желали, то отталкивать кого-нибудь тоже не входило в их намеренья, тем более, что на первых порах не так уж было и ясно, кто к их знаменам примкнет, а кто не примкнет. При Отделе образованы были две Коллегии: под председательством Альтмана в Петербурге и (немного позже) под председательством « конструктивиста » Татлина в Москве. В первую, однако, вошли также и верный заветам « Мира искусства » Чехонин, и талантливый, но чуждавшийся крайностей скульптор Матвеев, и весьма эклектический, хоть и одаренный архитектор Щусев (которому предстояло строить мавзолей Ленина), а кроме того Маяковский, друг его Осип Брик и критик из « Аполлона » Николай Пунин, быстро и двусторонне полевевший, в направлениях, так сказать, Ленина и Татлина одновременно.

Так и в московской Коллегии, рядом с Кандинским (он с начала войны жил в Москве) и « супрематистом » Малевичем, заседали Машков и Павел Кузнецов, скульптор Коненков, архитектор Жолтовский, люди с именем, но не столь уж безоглядно « передовые ». Тем не менее самые действия и решения ИЗО были революционны, и притом, опять-таки, двусторонне революционны, как по линии « Октября », так и супрематизма (или конструктивизма).

О двух этих линиях будет еще речь, как и о действиях ИЗО, но сперва надлежит отметить, что уже тогда, в 1918 году, в первые же месяцы того года, не все шло именно так, как мечталось тем, кто поставил ставку зараз и на Татлина (или Малевича), и на Ленина. В то самое время, когда Луначарский и Штеренберг стали ведать делами искусства, занялся ими — совсем уже сверху — он сам. По его, Ленина, инициативе и по горячо одобренному им плану, стали в Петербурге, в Москве, в городах, а порой и в деревнях, воздвигать памятники очень разнообразным Героям Мировой Революции: Марксу, но и Гейне, которого Маркс так люто ненавидел (памятник Гейне водружен бы почему-то перед петербургским университетом); Белинскому, но и Бакунину (анархистам он не пришелся по вкусу и в Москве они его уничтожили в самый день открытия); Чернышевскому, но и Мусоргскому, Курбе, и даже (очевидно не сам Ленин составлял список) Сезанну. Монументы эти сооружались наскоро из малопригодных, непрочных материалов; но не только поэтому являли они жалкий вид, а еще и потому, что за немногими исключениями выполнены были в самой позавчерашней, похож-как-две-капли-воды манере, так что казались слепками голов или целых фигур с натуры, — но огромных голов и высоченных фигур. Мальчишки кидали в них снежки, прохожие ухмылялись... Век их был недолог. Указ, вместе с выполнением его, был

всего лишь эпизод, но заключавший в себе довольно язвительное предзнаменованье.

В ИЗО тем временем сложа руки не сидели. Первым делом учреждено было при петербургской Коллегии музейное бюро, которому правительство ассигновало два миллиона рублей на покупку произведений искусства и на устройство музеев по всей стране. Их и было за три года открыто 36 и запланировано еще 26, после чего и Коллегия и Бюро приказали долго жить. Директором Бюро назначен был Александр Родченко, последователь сперва Малевича, потом Татлина в живописи, коммунист по верованию, но не по партийному билету, в котором ему было отказано с отвечающей действительности, но все же загадочной мотивировкой: «недостаток образования» (что, вероятно, означало незнание политграмоты). Картины покупались широко и, конечно, « левых » (по характеру их искусства) художников отнюдь при этом не забывали, чем, однако, и вызвали негодование своей же « Правды », писавшей (24 ноября 1918 года), что покупать следовало картины не у футуристов, « чье будущее весьма спорно », а у таких художников, как Бенуа, Головин и, вообще, у дореволюционных мастеров с прочно установившейся репутацией. Луначарский на это отвечал, что полотна приобретаются у живописцев всех школ, « но в первую очередь у тех, которые, при господстве буржуазного вкуса, находились вне закона и потому не представлены в наших галлереях ». (« Искусство коммуны », № 1, 7 декабря 1918; обе цитаты приведены по книге Камиллы Грей The Great Experiment, London, 1962, стр. 220). О том, как бы вновь не оказаться « вне закона », да еще совсем по другому, по новому, тогда еще беспокоиться никому в голову не приходило.

Вторым решительным шагом ИЗО было в Петербурге закрытие летом того же года Академии художеств и замена ее осенью СВОМАС'ом (Свободными

мастерскими), а в Москве, тогда же, учреждение ВХУТЕМАС'а (Высших Технико-Художественных Мастерских), куда влилось прежнее Училище Живописи, Ваяния и Зодчества вместе со Строгановской школой прикладного искусства. Преподавание, там и тут, было организовано на выборных началах, но выбирали разумеется тех, кто был налицо, — и кто не отказывался от избрания. Главные преподавательские места получили в Петербурге (не считая Штеренберга) Альтман, Пуни, Петров-Водкин; в Москве — Малевич и Татлин (которых затем перевели в Петербург), Кандинский, Певзнер, Розанова, Удальцова, Кузнецов, Фальк и Фаворский. Последние три, Петров-Водкин, да и Альтман крайне « левыми » в своем искусстве не были; левизна их почиталась достаточной, но только для вторых ролей. Покуда метафора революционности и левизны считалась не метафорой, а правдой, первенствовать могли лишь те, левее которых не было. Именовались ли они (еще с прежних времен) супрематистами или конструктивистами было менее важно, хотя порой и возникал между ними семейный спор о том, кто кого левей; по нынешней партийной терминологии все это были « абстракционисты ». Свою левизну, *в обоих смыслах,* они принимали одинаково всерьез. По их убеждению, они делали революцию в искусстве и тем самым участвовали в революции, призванной все переделать, все перестроить, в том числе — их силами и по их замыслу — также и все то, что звалось до тех пор искусством.

Старшим среди них был Кандинский: ему исполнилось пятьдесят четыре года. Малевичу было сорок лет. Татлину — тридцать три года. Певзнеру — тридцать два. Другие были моложе, всех моложе Пуни — двадцать четыре года. Певзнер и его брат Габо (тоже преподававший, хоть и без « кафедры », во ВХУТЕМАС'е) прибыли из Норвегии в предыдущем году, их в России

совсем не знали, да и Кандинский тут был менее известен, чем в Германии. Зато Малевич и Татлин выставляли с 1909 года, и от изображения к не-изображению стали переходить еще до войны, почти одновременно с Кандинским. Свой ставший позже (и не в России) знаменитым черный квадрат на белом фоне Малевич выставил в 1915, но написал раньше, повидимому еще в 1913 году. Теперь, в 1918, начертал он белый квадрат на белом фоне; то была « супрематистская композиция: белое на белом » — и Родченко, прежде подражавший Малевичу, а теперь соперничавший с ним, тотчас ответил ему другой « композицией » « черное на черном ». Названия эти не следует понимать буквально: черное тут было не везде одинаковой густоты, и белый квадрат выделялся более чистой белизной на белом фоне. Но все же картиной такого рода художник не может не прощаться с живописью, и Малевич это вполне ясно осознал. На следующий год устроил он в Москве выставку « От импрессионизма к супрематизму », показал на ней 153 своих холста и объявил, что живопись этими именно холстами и кончается (недаром французское слово suprême означает сразу и «высший», и «последний»). Татлин (как за ним Родченко и ряд других, Лисицкий например) тоже от живописи отходил, но по иному пути: он заменял картину брусьями и другими «матерьялами», как это у него называлось, прибитыми к доске, или же стоящим на постаменте, со всех сторон обозреваемым « предметом ». Это и называлось конструктивизмом или, одно время, объективизмом, изготовлением « объектов »; но так как « объект » или « предмет » может вполне быть чем-то применимым на практике, то почему бы к изготовлению таких практически полезных предметов и не перейти ? Тем более, что в изделиях такого рода, печах например, стала ощущаться острая нужда. Татлин и стал работать над проектом печки, которая, при наименьшей затрате топ-

лива, давала бы наибольшее тепло. За этим последовала модель чайника, потом металлического стула . . . Но еще до стула наметились у него разногласия с теми, кто стал говорить: « Хорошо, но где же тут искусство ?»

Разногласия бывали и раньше. Бывали и кулачные бои, — как еще в 1915 году, когда Малевич подрался с Татлиным, из-за господства на выставке, в которой они участвовали оба. Стычки вызывались и распределением картин по музеям: Родченко собрался было послать одну из скульптур Габо в Царевококшайск, то есть в отдаленнейшее захолустье, к большой обиде Габо, которому Кандиский об этом сообщил. Против самого Кандинского, в Московском ИНХУК'е (Институте Художественной Культуры), высшем органе идейного руководства искусством, учрежденном в мае 1920 года, через несколько месяцев уже сплотились все его сотрудники и при голосовании провалили его программу; Кандинский перебрался в Петербург, где, при его участии, СВОМАС превратился в Академию Художественных Наук; программу ее он разработал, но уже готовясь к окончательному отъезду. Малевич еще в 19-м году нагрянул самочинно в Витебск, родной город Марка Шагала, в начале войны вернувшегося в Россию и теперь управлявшего Витебским Художественным Училищем, откуда Малевич его и выгнал, сел на его место и переименовал училище в УНОВИС (Училище Нового Искусства). Шагал был объявлен при этом художником отсталым и для революции непригодным; ему пришлось спасаться в Габиме (еврейском театре в Москве), где он и проработал еще два года, после чего уехал и он: обратно на Запад. К тому времени отъезды и вообще участились, а среди решительнейших революционеров стали уезжать приехавшие недавно. Раньше других они почувствовали, что окажутся скоро не у дел, да и было им куда уезжать. К концу 22-го года Кандинский, Певзнер, Габо, а вслед за ними и Пуни

оказались заграницей. Другие остались, но все пошло так, как если бы уехали и они. Наступили другие времена. Революция в искусстве кончилась.

Если подводить ей итоги, то можно, хоть и покажется это странным, сказать, что не определяют их ни произведения этих художников, ни их теории. Сколько-нибудь членораздельны были только теории Кандинского, намеченные в Мюнхене, разработанные в ИНХУК'е, но пригодившиеся ему для преподавания лишь в Баухаузе. В писаниях Малевича были разве что проблески мысли. В писаниях Родченко и проблесков не было. Что же касается произведений, то дарование живописцев проявили за эти годы (как проявляли его и раньше) в абстрактных своих полотнах Александра Экстер (перешедшая вскоре на театральную работу с режиссером Таировым), Надежда Удальцова и Любовь Попова (особенно вторая, обе они учились в Париже у Ле Фоконнье и Метценже); проявлял его, весьма ярко, в этих ранних своих работах Пуни. Татлин же и Малевич (у которого азарта было больше, чем таланта) перестали его проявлять. Вместе с теми, кто к ним примкнул и о чьем даре судить достаточных оснований нет, они занялись другим: не живописью (или скульптурой), а экспериментами, как, в то время, и Кандинский, и Певзнер, и Габо. Эксперименты Малевича и Татлина ничего не дали ни живописи, ни скульптуре, да и ничего не хотели им давать, оттого что устремлены были к ликвидации той и другой. Но это не умаляет, а, напротив, подчеркивает их значение в истории современного искуства, — или в истории того, что происходит с искусством в наше время.

На Западе этих экспериментов не учли, да и очень немногие здесь вообще о них знали. Здесь и позже пытались и сейчас еще пытаются заменить предметную живопись беспредметной, тогда как там, за несколько

лет, сами « беспредметники » пришли к выводу, что беспредметная живопись отменяет живопись. Здесь, в качестве новшества, изготовляют с недавних пор трехмерные объекты; там это начали делать еще до первой войны, а в сентябре 1921 года Родченко, Степанова (его жена), Попова, Экстер и Александр Веснин устроили в Москве совместную выставку, называвшуюся « 2 х 2 = 5 », но тут же собщили во всеуслышанье о конце живописи — да и « объектов » как искусства ради искусства — и « предложили свои услуги народу », в качестве производственных работников. В ноябре того же года, на собрании ИНХУК'а, собравшиеся объявили свою деятельность как «только живописцев» бесцельной, и к тому же времени Татлин, изготовив свою знаменитую модель Башни III Интернационала (произведения архитектуры, хоть и утопической), окончательно перешел (пусть и работая по временам для театра) от искусства к тому, чего иначе не назовешь, как техникой. Лично ему всего больше было по душе любительское изобретательство: он тридцать лет проработал над конструкцией аппарата, окрещенного им « Летатлин », но который на воздух так и не поднялся. Остальной « авангард » спасения от нахлобучек или чего похуже, да и пропитания стал искать в различных формах industrial design. Родченко и Степанова занялись типографским делом, — ему ведь и художество не чуждо; Лисицкий тем же и эфемерной архитектурой: специализировался на постройке советских павильонов для международных выставок. Один Малевич так и остался не у дел. От своих принципов — осуждения живописи « напоминающей о живом » и несвободной от « остова вещей » — публично не отказался, но частным образом, в конце жизни, писал, говорят, портреты членов своей семьи. Умер он (Татлин его пережил на 18 лет) в 1935 году и похоронен был в гробу, который заранее расписал « супрематистскими » узорами.

Насчет спасенья и впрямь приходилось хлопотать: наступали времена крутые. Не только для революции в искусстве, но и для искусства вообще (да и для революции, в понимании первых ее энтузиастов). Над « Свободными Мастерскими » и всем прочим, в том же роде, скопилась гроза; недаром и ВХУТЕМАС сделался вскоре ВХУТЕИН'ом, то есть Институтом с кем-то властью облеченным во главе, а СВОМАС Академией, чем он и был от Екатерины II до Луначарского со Штеренбергом. Попал в просак даже Пролеткульт, старейшее партийное высокого полета учреждение, годами существовавшее еще до захвата партией власти. Там считали, что пролетариат призван создать совершенно новую антибуржуазную культуру, а значит и распрощаться решительным образом с мещанскими вкусами и с мещанским пониманием искусства. Но когда в « Правде » 27 сентября 1922 года один из руководителей этого учреждения В. Плетнев заявил: « Изобразительное искусство нового мира будет производственным искусством или его не будет вовсе », то получил головомойку ни от кого другого, как от Ленина, который рассуждения его назвал « фальсификацией исторического материализма ». А когда, около того же времени, открылась выставка Нового Общества Живописцев (НОЖ), молодых беспредметников, наскоро забивших отбой и задумавших вернуться к нарочитому дикарству (парижские fauves плюс русский лубок) « Бубнового валета », Ларионова, Гончаровой (так и не вернувшихся из Парижа после войны) и тогдашнего Малевича, то их строго призвали к порядку; этот « культ примитива » тотчас и раз навсегда был осужден. Павел Филонов (1883-1943), единственный русский квазисюрреалист, художник весьма своеобразный и даровитый, воспользовался было (немного позже) этим запретом

как беспредметного, так и добеспредметного (упрощающего предмет) искусства, и открыл в Ленинграде в 1925 году студию « аналитической живописи », имевшую немалый успех. Но три года спустя все частные художественные группировки и училища были запрещены; живопись же Филонова и по сей день предписывается считать « уродливой ».

Однако, эпизод с « аналитической живописью » был уже чем-то запоздалым и так сказать посмертным. К пятой годовщине « Октября » положение, во всем существенном, определилось с полной ясностью. Всем « измам » надлежало исчезнуть и уступить место одному, еще не названному, но уже отчетливо рисовавшемуся на горизонте и на прежние непохожему: те обозначали « направления » внутри искусства, ему же предстояло служить кличкой управления искусством. О качестве этого управляемого искусства — столь самодержавно им еще никогда в России не управляли — можно было судить по качеству тех бетонно-фотографических монументов — Володарскому, Байрону, Константину Мёнье, Спартаку, — которых, правда, сохранилось к тому времени не много, но которые так ясно отражали художественный вкус (да и вкус вообще) их инициатора и его будущих наследников. Впрочем, инициатор высказался и сам, — критически, если не доктринально. Эти его слова (в беседе с Кларой Цеткин) имеют силу закона и по сей день. Они цитируются, как сказанные ex cathedra, в XI томе официальной « Истории русского искусства », вышедшем в 1957 году. Говорит Ленин:

« *Мы герресгур большие ниспровергатели в живописи. Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно старое. Погему нам нужно отворагиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, гто оно*

старо? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы стоим на высоте современной культуры... Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих измов высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».

Об осведомленности слова эти не свидетельствуют; экспрессионизмом, например, никто в России не увлекался. Но здравого смысла у Ленина было достаточно, как и уменья покорять им людей, не слишком озабоченных проверкой его доводов. Не вникая в суть дела, с его суждением легко согласиться. Отворачиваться от «истинно-прекрасного» и в самом деле грех, — если не смешивать его с «красивым», и беречь его следует немножко бережней, чем берег его он, но все-таки зная, какое беречь стоит и какое не стоит. Гоняться за модой смешно, еще смешней, однако, насаждать задним числом вкусы и взгляды шестидесятых годов, чем его партия, с ним во главе, и занялась, производя попутно замену искусства «монументальной» или другой пропагандой. А так как Восток никаких мод не изобретал, да и сейчас еще не изобретает, то подчеркивать западность привлекающей русских художников моды было бы излишне, если бы не крылось за этим намерение понизить западный престиж. О «низкопоклонстве перед Западом» тут еще не говорится, но смысл этой формулы уже сквозит в иронических словах о «высоте современной культуры» и о желании доказать, что «мы» стоим на этой высоте. Престиж Запада и престиж культуры снижаются, таким образом, одновременно, как бы в неведении того, что сама культура не может не пасть вслед за падением ее престижа. Быть может

Ленин этого и не знал. Быть может и того не знал, что словечко, как будто и скромное, « я их не понимаю » станет вскоре и останется надолго разрешением, призывом и даже приказом, не только « их », но и многое другое « не понимать ».

Во всяком случае, близились годы очень большого низкопоклонства, но уж никак не перед западной культурой и не перед культурой вообще. Как бы в предвиденьи этого, алчный Запад успел-таки проглотить изрядное количество русских художников. Скульпторы Архипенко, Липшиц, Цадкин давно были за границей. Из живописцев с именем и талантом уехало большинство. Например: Бенуа, Сомов, Добужинский, Чехонин, Рерих, Бакст, Коровин, Яковлев, Григорьев (вернувшийся позже), Анненков, Милиоти, Судейкин, Стеллецкий, Серебрякова, Бушен; из самых молодых Бенн, Терешкович, Ланской и ряд других, создавших себе имя в Париже, подобно Ивану Пуни, превратившемуся во французского (не-абстрактного) живописца Жана Пуньи. Оставшимся жилось не легко. Им пришлось приспосабливаться ко все более точно формулируемым требованиям и все яснее определявшимся новым — или очень старым, но незадолго до этого пересаженным из первых рядов на галерку — вкусам. Один из талантливейших, Кузьма Петров-Водкин (1878-1939) расквитался было за свое старое « Купанье красного коня » павшим на поле брани « Красным командиром », но батального холста этого оказалось недостаточно и менять надлежало не тему только, но и манеру. В голодную зиму 20-го года создал он свое лучшее: рисунки к Евангелию от Иоанна, переправил их в Париж, где они два раза выставлялись; потом их увезли в Америку; не знаю, что с ними случилось; но с художником случилось грустное, как с поэтом, которого заставили бы пересказать свои стихи прозой, да еще и « не о том » писать стихи. Пережил его художник, на много его старше,

достигший славы еще в начале века, Нестеров (1862-1942). Прославили Нестерова нежные (и немножко приторные) монастырские (по настроению или темам) пейзажи; но уж это, разумеется, пришлось оставить, и сделался он заправским портретистом, старательно угождавшим заказчикам; но с грустью должно быть глядел он в Русском музее на портрет дочери, написанный им когда-то, свободно написанный, как ему хотелось, без мысли о том, как бы не слишком отступить от фотографии. Утихомирились скульпторы Матвеев, Коненков, Голубкина. Образумился и озорной « Бубновый валет »: Машков, Кончаловский, Лентулов стали паиньки. Живи они в Париже, они бы теперь выставляли не в « Салоне независимых » или « Осеннем салоне », а в сверхблагоразумном « Салоне французских художников ». Павел Кузнецов постарался реже вспоминать о выставке « Голубой розы » и о плоскостной живописи своего учителя Мусатова: теперь полагалось писать объемно, а голубых роз, как известно, в природе нет. Сарьян уберег кое-что от матиссовской своей палитры, перебравшись спешно на родину в Армению. Роберт Фальк (1886-1958) кривить душой несклонный, вырвался чуть ли не последним в Париж, пробыл там десять лет, вернулся, приобрел друзей своему искусству, но был Хрущевым до и после смерти осужден. « Не понимаю. Не испытываю радости ». Нет, не это он сказал; он выражался куда крепче.

Конечно, талант, как его ни приспособляй, все-таки порой и скажется. Дейнека, ученик Фаворского, тогда еще молодой, весьма ярко проявил дарование подражающей Ходлеру и Эггер-Линцу «Защитой Петрограда» (1928, род. 1899). Проявлял его нередко и позже; но сколько ему пришлось написать вымученного, подсказанного, навязанного ! Фаворский, превосходный гравер, воспитал для графики немало способных учеников, однако, в общем книжная иллюстрация тяжело

пострадала от мелочности, буквальности, боязливости, от узко понимаемой иллюстративности, а целостное оформление книги за сорок лет не дало ничего, что хоть издали могло бы сравниться с лучшими книгами предшествовавших двух десятилетий. Но всем этим главное еще не сказано. Чего от талантливых людей трудно было добиться, того от других добивались без труда. Об этих других не сразу вспомнили, но когда надумали к ним обратиться, они оказались тут как тут и быстро наплодили себе подобных. Были это люди не первой молодости, а то и совсем пожилые. В искусстве держались старины, уважали Передвижников, у них же и выставляли. Об одном из них в « Истории русского искусства » (XI, 199) сказано: « Среди поборников реализма, стоявших у истоков советской живописи, особую роль сыграл Н. Касаткин ». Тут же даны и два произведения этого поборника, одно 25-го, другое 26-го года: пресмазливенькая, совсем с папиросной коробки « Рабфаковка », и « Пионерка », серьезная такая, с книжками, но тем не менее красотка, хоть и скорей кондитерской, чем табачной разновидности. Передвижнику Касаткину шел тогда седьмой десяток, он был старше Ленина (которого уже не было в живых); но ведь « красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно старое ». Завет Ильича был выполнен. Именно такое « истинно-прекрасное » и « стояло у истоков » советского искусства.

Не сплошь, конечно, столь же парфюмерное, но столь же шаблонное, состряпанное по тем же обветшалым шестидесятническим рецептам. Касаткин (ученик Перова) был Передвижник второго поколения, как и его сверстники Малютин и Архипов. Все трое, вместе с живописцами того же пошиба, но помоложе и которые тоже стояли у истоков (Сергеем Герасимовым, Бродским, Грековым, Авиловым), искони были « по-

борниками » того реализма, который теперь побеждал без всякой борьбы, как предстояло ему победить и в Германии при Гитлере и (менее отчетливо) в Италии при Муссолини. Это был не реализм Курбе или Лейбля, или Сурикова, Серова, или даже Репина в лучших его вещах; это был тот реализм, который и Западу с середины прошлого века был очень хорошо знаком, но образцы которого давно уже из здешних музеев изъяты (хранятся в запасе, ждут может быть « Октября » или « похода на Рим »). Правда, советский реализм называется социалистическим, но квалификация эта относится не к искусству, а к пропаганде, производимой посредством искусства (никто ведь не может отличить социалистический мазок от социал-предательского, и социалистически изваянную ногу от империалистически изваянной ноги). Название было утверждено постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года. « Социалистический реализм » — сказано там — « требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. При этом правдивость и конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма ». « Кажется ясно ? » — как любила говорить личность, которой в то время воздавался культ. « Правдивость и конкретность », это реализм, а « переделка и воспитание », это его социалистичность. Ею определена задача реализма, но не его характер или качество.

На самом деле, однако, и качество, и характер вытекают из этой задачи, только в официальных документах ничего об этом не сказано. С прадедовских или прапрадедовских времен так повелось, что хорошая живопись (реалистическая или нет) нравится немногим, а плохая многим. Пропаганда же обращена ко многим, а до немногих ей дела нет. Переделывать и воспиты-

вать (по мнению партии) нужно всех, а не каких-то отдельных чувствительных к искусству людей, которые класса не образуют и встречаются как среди рабочих, так и среди аристократов и купцов. Хорошенькая пионерка нравится всем, трактористы в поле при хорошей погоде тоже, и лишь немногие морщатся, глядя на пионерку и трактористов, когда ее написал Касаткин, а их Герасимов или Пластов. Картина Владимира Серова — не Валентина, о нет ! — (1950), изображающая крестьян, пришедших беседовать с Лениным о своих нуждах — верх убожества, совершенный Кнаус, Вотье или Владимир Маковский, но она, конечно, нравится « всем » и обратно-пропагандное действие производит на очень немногих. Как наивен был Пролеткульт ! Пролетарские или, скажем, рабоче-крестьянские вкусы, это ведь и есть те же самые мещанские, совершенно сходные со средними вкусами телеграфистов, зубных врачей и может быть премьер-министров, если бы искренние вкусы премьер-министров были нам доподлинно известны. Ленин не зря скрутил Пролеткульт в бараний рог. Причем никакого лицемерия ни ему, ни Сталину, ни Гитлеру, ни Хрущеву в этих делах проявлять не приходилось. Их вкусы ничем не отличались от тех, которым они повелевали угождать.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Сорок пять лет сидит Россия на прописанной ей « партией и правительством » диете. Каковы последствия этого ? Те самые, которых можно было ожидать: оскудение, провинциализация, разрыв, как со своим собственным недавним прошлым, так и со всей современностью других, некоммунистических, а то и коммунистических стран. Оскудение, не количественное, конечно, а качественное, сказалось немедленно. Вызвано оно было, в равной мере, отъездом заграницу наиболее

одаренных художников и запретом, наложенным на всех оставшихся, писать и ваять по-своему, каждый раз, как это « по-своему » не совпадало с тем, что представлялось написанным или изваянным « по-нашему » людям, в искусстве ничего не понимавшим. А так как не одни художники, но и простые смертные, кое-что понимавшие в нем, либо уехали, либо погибли, либо принуждены были молчать и кривить душой, то весьма быстро обнаружилось и общее понижение вкуса, о котором легко судить хотя бы по внешнему облику книг, улучшившемуся лишь в последнее время, да и по всему прикладному художеству с конца двадцатых годов. За дальнейшие десятилетия бытовая безвкусица (в обстановке квартир, одежде, выборе украшений) достигла таких размеров, что стала колоть глаза кое-кому из ее виновников. На XXII съезде Хрущев призывал « уделить серьезное внимание эстетическому воспитанию, формированию художественных вкусов у всех советских людей, объявить решительную борьбу безвкусице, в чем бы она ни проявлялась — в формалистических увлечениях или в мещанских представлениях о красивом в искусстве, в жизни, в быту ». Призыв этот и показателен и забавен. Показателен для степени бедствия, раз уже вокруг Хрущева стали его замечать; забавен заколдованным кругом, в котором вертится высказанная в нем мысль. « Формализм » тут, конечно, не причем: безвкусен не « Ослиный хвост », а фарфоровый ослик с ленточкой на шее. Если же мещанство торжествует, то ведь это потому, что им проникнута партийная верхушка, неспособная от него освободиться по недостатку образования, приобрести которое мешает этим людям застрявшая у них в мозгу идеологическая труха. А если мещанство торжествует *в искусстве,* то ведь как раз оттого, что малейшее отступление от мещанской красивости и мещанского « ах ! до чего похоже ! » приводит к обвинениям в « формализме »,

« абстракционизме » и « низкопоклонстве перед Западом ». Раз ты, скульптор, не принадлежишь к потомству Мухиной и Шадра, значит не будет тебе ходу. Раз ты, живописец, не внук Касаткина, не племянник Иогансона, не двоюродный брат Шаталина и не поклонник Владимира Серова, значит не будет ходу и тебе. Другими словами: чем банальней, чем провинциальней твои работы, тем легче ты сделаешь карьеру, — совсем как в буржуазных монархиях и республиках прошлого века, покуда не было поколеблено законодательствовавшее в их искусстве официально-салонное мещанство.

Провинциальна была русская живопись тех, прежних, шестидесятых годов не по сравнению с Бонна или Мейссонье, а по сравнению с Мане или Сезанном. Прошло сто лет, и нынешние хозяева России все еще пытаются держать ее под замком, не выпускать ее из того шестидесятнического провинциализма, к которому они ее вернули, после того как ей удалось вырваться из него. Они русских художников разлучают не с теми западными, которые и сейчас, как прежде, пишут в любых столицах провинциальные портреты и пейзажи, генералов при всех орденах и каких-нибудь нынешних « Запорожцев » или « Бурлаков », а со всеми другими, с живыми, с теми, кто быть может и заблуждался, да не стоял сорок лет в стороне, на запасном пути. Сутин не стал бы Сутиным, если бы в юности не уехал из России; Шагал перестал бы быть Шагалом, если бы во-время не выбрался из нее. Эти два больших художника с мировым именем, как и многие другие преуспевшие на Западе (например, среди « беспредметников », в недавнее время, Поляков и Димитриенко) от своей страны не отрекались; это ее хозяева хотят, чтобы *она* отреклась от всего, что они называют « абстракционизмом ». Ярлык этот наклеивают они отнюдь не на одну только беспредметную живопись (и такую же скульптуру). Абстракционизмом —

твердят услужающие им комментаторы — грешит уже добрых сто лет все европейское искусство; из его больших мастеров последний безупречный реалист — Курбе. Когда читаешь недавние полемические книги Стойкова и Кеменова, думаешь, однако, что такая конструкция внушена их авторам оценками, принятыми в некоммунистичеком мире. « Реалистической », прошедшей мимо импрессионизма, как и всех дальнейших новшеств, живописи, было сколько угодно и после Курбе; есть она повсюду и сейчас. Вот только качество . . . Но ведь ярлыки « абстракционизма » и « социалистического реализма » ровно ничего о качестве не говорят. Да и зачем хозяевам качество, когда они не разбираются в качестве ? Зачем им новый Курбе ? Они совершенно будут удовлетворены новым Верещагиным или Касаткиным.

Коммунистическим партиям Запада (например, итальянской и французской) советско-партийные взгляды на то, каким должно быть искусство, представляются слишком узкими. Французский партийный идеолог Гароди, не Бог знает какой широколобый, все же их в 1963 году весьма жестоко раскритиковал. В Югославии, в Польше тоже не считают нужным приструнивать своих « абстракционистов » и вообще отягощать партийную доктрину еще и эстетической догматикой. Зато в послесталинском СССР наклеиватели ярлыков работают едва ли не усердней, чем при Сталине. Это, быть может, не такой плохой признак. При Сталине расправа была коротка и не « доктора искусствоведческих наук » ею занимались. Теперь (1964) один такой доктор (А. А. Федоров-Давыдов в предисловии к переведенной с болгарского книге А. Стойкова) пишет:

« Абстракционизм (или абстрактное искусство) — отрицательное, глубоко реакционное тегение современного буржуазного искусства, Абстракционизм антигу-

манистиген, враждебен всему подлинно-геловегескому. Он является врагом реализма, врагом социалистигеского и всякого вообще передового, прогрессивного искусства ».

Одним словом « абстракционизм », это, в данной области тот же « ревизионизм »; можно однако, за этого престарелого защитника устоев опасаться, как бы его завтра не обвинили, при помощи столь же гибкого понятия, в « догматизме ». Тем более, что у него же, перелистнув страницу, читаем:

« *Абстракционизм сильно повлиял на искусство Польши и отгасти сказывается в искусстве Чехословакии. Даже в советском искусстве он сказался, как увлегение гасти молодежи формалистигеским западным искусством. Нашлись люди, которые стали ему подражать или его оправдывать* . . . »

Лучше бы он сказал: нашлись люди, которым сидеть на установленном партией голодном пайке надоело и которых тем жалким ярлыком становится труднее напугать.

Все сильней обозначается в России за последние годы различие между поддерживаемой властью фикцией и реальным положением вещей, — о котором, разумеется, живя за границей, точное представление составить себе трудно. Интерес к тому, что делается за пределами Советского Союза, во всяком случае растет, как растет и осведомленность по этой части, которой помогают полемические книги: их раньше не было, они раскупаются быстро, — и уж наверно не из интереса к самой полемике. Живописцы и скульпторы, которым власть говорит: « Не понимаю, не испытываю никакой радости », показывают свои произведения у себя на дому или в мастерской приятеля и доставляют

друзьям своего искусства, порою многочисленным, истинную радость. Некоторые пишут вполне беспредметные картины, думая, должно быть, что риска в этом не больше, чем в любом отступлении от шаблона, которое точно также заклеймят все тем же клеймом: « абстракционизм ». Другие не считают для себя обязательной беспредметность, зная, что давным давно была она испробована в России и что многие ищут выхода из нее на Западе (как нашел этот выход, например, Пуни, конечно оставшись « абстракционистом », или « формалистом », по нелепой, точно в сыскном отделении придуманной терминологии). Из этих живописцев Краснопевцев и Рабин известны мне лишь по воспроизведениям, убедившим меня, однако, — как и рисунки скульптора Неизвестного — и, я думаю, всякого способным убедить, что это художники, а не социалистические реалисты. Зато выставку Анатолия Зверева (род. 1931) в Париже, в начале 65-го года (акварели и гуаши, 1956-1964) я видел собственными глазами, мог сравнить более ранние портретные и другие наброски, еще неуверенные, еще не чуждые шаблону, с освободившимися полностью от него более поздними и зрелыми листами. В книге для посетителей я тогда написал: « Как хорошо, что недавние работы — самые лучшие ! Как вырос художник за восемь лет ! Нет, слава Богу, русская живопись еще не умерла ». Рад повторить это и теперь. Русская живопись не умерла, как и русская литература. Несмотря на то, что советская власть все от нее зависящее делает, чтобы и ту и другую умертвить, превратив их обе в подсобное ее целям средство.

« Советская власть », это конечно не власть « советов », никакой властью не облеченных, а власть небольшого количества людей, опирающихся на государственный и еще больше на партийный аппарат господства над всеми прочими. В работе обоих этих аппаратов

проявляются за последние годы некоторые задержки и перебои. Власть время от времени уступает предъявляемым ей негласно или с очень слабой оглаской требованиям; в тех случаях уступает, когда требования эти разделяются людьми близко стоящими к ней, или хотя бы к верхушкам тех аппаратов, с помощью которых она осуществляется. В области искусства, как и литературы, таким требованиям отвечают и самим существованием своим о них свидетельствуют все произведения, которые не подчиняются правилу «фотографируй, но лишь выгодное для власти и не без ретуши лестной для нее», и поэтому попадают с трудом или вовсе не попадают на выставки и в печать. Правило это условно именуется социалистическим реализмом; произведений, им пренебрегающих, становится больше с каждым годом; но это не значит, что произведения эти должны оказаться или на деле оказываются в чем-то сходными между собой. Требованье, молчаливо предъявляемое всеми ими сообща, а порой и высказываемое более или менее открыто, не предрешает выбора; оно требует свободы выбирать; но власти удовлетворить его нелегко, так как она знает, что выбрано будет чтó угодно, но не то, чтó ей угодно, не то, чтó она насаждала с таким усердием столько лет. Однако, если нелегко уступить, то и не уступать становится ей все труднее. Будущее русского искусства в значительной мере зависит от того, как долго еще захочет или сможет она упрямствовать. Ведь Россия в искусстве, как и в литературе, лишена не только свободы выбора, но и свободы обсуждать этот выбор, и даже свободы осведомляться насчет того, чтó надлежало бы обсуждать, из чего надлежало бы выбирать. Мешают знакомству ее художников, как и писателей, с Западом; мешают их полному ознакомлению даже с ее собственным недавним прошлым. Если долго еще сумеют мешать, добьются одного: когда рухнет стена, будет у

нас то же, что везде, а русского искусства не будет. Этого люди, выросшие в досоветской России, как я, не могут хотеть; они верят, что будет другое. Русское искусство не исчезло. Есть надежда, что оно найдет свой путь, и даже найдет его не только для себя. Кому же надеяться на это, как не нам, тем, кто видел, как горячо оно его некогда искало ?

МОСКВА У ВЕРСАЛЬСКИХ ВОРОТ

Вскоре после ее открытия побывал и я на советской выставке в Париже. Думал, что будет толпа народу и придется долго ждать у кассы, но ждать не пришлось: посетителей на выставке было совсем не много. Правда, я пришел в два часа; парижане еще не отобедали. После трех, посетителей стало больше, но переполнения все же не было. Нечего и говорить, что вход на выставку открыт для всех; входная плата невысока и билеты продаются в неограниченном количестве. Утверждают, что гораздо больше народу приходит вечером, особенно в ресторан, который бывает битком набит желающими ознакомиться с «настоящей» русской кухней. В Париже и без того много русских ресторанов — дешевых и дорогих, на любой карман, — но иные французы, любители хорошо поесть, думают, вероятно, что кухня там менее «настоящая». Выставочный ресторан — дорогой, но все же, по газетным сведениям, был он в первый вечер так переполнен, что не меньше часу приходилось ждать, к чему французы вовсе не привыкли, прежде чем получить всего лишь закуску с выпивкой, и дело осложнялось еще и тем, что весь персонал ресторана, кроме поваров, нерусский и объясняться ему с поварами насчет заказов было затруднительно.

Но оставим ресторан. Я там не был. Я только обошел выставку, на что потребовалось часа полтора. Не такая уж она огромная: вся разместилась в весьма обширном, правда, выставочном павильоне у Версальских ворот, разместилась без тесноты и не выплеснулась за его пределы. Снаружи есть только прилавки,

на которых разложено кое-что, что продается. Не Бог знает что: книжки и брошюры на французском языке, какие-то довольно симпатичного вида вазочки эстонской работы, немножко шоколаду, немножко леденцов, консервов — всем этим тут не удивишь — да еще портреты космонавтов и миниатюрные модели Спутника. Внутри выставочного павильона, модель совсем другая, отнюдь не миниатюрная, а портреты Гагарина и Титова совсем уж колоссальных размеров. Модель большого ледокола тоже весьма внушительна, а машин выставлено множество, самых разнообразных, и для людей понимающих они, нужно думать — самое интересное на выставке.

Я в машинах ничего не понимаю, а потому их и не разглядывал; все равно: не в коня корм. Но ведь на всех выставках такого рода всегда есть две стороны. Одна — практическая, промышленная, статистическая, техническая; тут я профан. И другая — более декоративная, внешняя, если хотите, показная, т.е. показывающая, какой у людей вкус, в какие формы и краски облекают, наряжают они свою жизнь; тут профанов нет, об этом судить может всякий. Я посмотрел, сужу и я. Ну что ж, приходится сказать, что впечатление у меня осталось грустное.

Выставка должна ведь отражать нынешнюю русскую жизнь. И тут не берусь уж я судить, скучна ли сама эта жизнь или отражена она так, что кажется скучной. Я говорю лишь о выставке, но все-таки странно, что все на ней выглядит таким обыкновенным, серым, заурядным. Не скажу, чтобы достижения — научные, технические, учитываемые статистикой — обыкновенны: среди них есть и вовсе необыкновенные. Все это знают, но я не об этом говорю. Мне только показалось, что жизнь, отражаемая выставкой, бескрасочна, будничнa, однообразна, что вся она протекает по тоскливому какому-то регламенту и как бы катится

по рельсам без того, чтобы кто-нибудь мог сойти с поезда и прогуляться этак в сторонку, куда вздумается. Через двадцать лет, говорят, поезд докатится до коммунизма, но ведь не остановится и тогда. Еще больше будет заводов, машин, ну и домов, стульев, столов. Все будут одеты, обуты, накормлены и даже откормлены. На выставке это предвидено, это почти что нам показано. А только, пожалуй, судя по ней, будет жизнь тогда еще однообразней, еще скучней, чем нынче.

Может быть и не будет. Может быть и сейчас не скучно в России. Я только говорю о впечатлении, которое произвела на меня и, боюсь, на многих выставка. « Гвоздь », как говорится, на ней есть, даже двойной, в виде двух космонавтов, но изюминки, как сказал бы Толстой, нет. Ни малейшей нет изюминки. Оттого что не чувствуется нигде никакой *свободной* творческой игры. На самом-то деле, я уверен, она есть. Но на выставке показана не она, а показано то, как лишают творчество и этой вот игры, и свободы. Ты, мол, давай то, что нам нужно, а не то, чего хочется тебе. Гулять не велено. Вот тебе рельсы. Катись со всеми по ним. Ежели ты музыкант, то пиши музыку, да только в такт поезду, непременно в такт. Ежели писатель, сочиняй о рельсах да о нем роман или стихи. Ежели художник — пиши локомотив, пиши вагоны.

Нет, не верю. Не хочу верить. Все это должно быть не так. А только, уходя с выставки, после первого посещения ее, все-таки бормотал я себе под нос два изречения великих наших писателей: « Скучно жить на свете, господа ! » и « Боже, как грустна наша Россия ».

*

Мало мне этого было. Решил пойти опять, посмотреть на этот раз, главным образом, книги и картины. Не то, чтобы я предполагал увидеть нечто мне неведо-

мое. В Париже есть пять или шесть книжных магазинов, где продаются книги, изданные в Советском Союзе, есть и немало библиотек, где можно с ними ознакомиться. Что же касается картин, то я видел Лондонскую, а потом Парижскую выставку советского искусства (вместе с прежним, русским), а на последних трех международных выставках в Венеции неизменно заглядывал и в советский павильон. Но мне хотелось узнать, что же именно покажут на этот раз в Париже, а также представить себе — насколько это возможно — как отнесутся французские посетители выставки к тому, что будет им показано. Именно представить, а не увидеть. Не задавался я целью прочесть их впечатления на их лицах: французы, особенно парижане, люди учтивые и не очень экспансивные. Но я так с ними сжился, столько лет живя среди них, что вообразить себя французом мне не так уж трудно, а значит и сообразить, какое у француза должно создаться впечатление от выставленных теперь советских книг и картин.

Начнем с книг. Раз я — француз, обыкновенный средний француз, а не какой-нибудь профессионально или хоть любительски осведомленный насчет всего русского, то я по-русски не понимаю. Книгу я беру в руки, перелистываю, разглядываю иллюстрации, если они есть; но прочесть ни слова не могу. Так что судить я в состоянии только о ее внешности. И вот эта внешность немножко меня удивляет. Французские книги, в отличие от английских или немецких, большей частью поступают в продажу непереплетенными, а тут все книги в издательских коленкоровых переплетах. Само по себе это было бы отлично, но отчего же переплеты эти сплошь такие некрасивые и недобротные ? Коленкор какой-то клеенчатый, чуть что не липкий или кажущийся липким. Нигде на Западе в такой коленкор книг не переплетают. Да и типографский их облик почти

всегда какой-то казенный, скучный; если же с фантазией, то с аляповатою, безвкусною фантазией. А иллюстрации, даже в книгах по искусству, если цветные, то скверные, совершенно ложно передающие краски оригинала, а если не цветные, то какие-то бледные, точно выцветшие. Фотографии были, пожалуй, и неплохие, но воспроизведены они плохо, да и бумага взята для этого такая, что хорошего воспроизведения получиться на ней не может. Отчего же это ? Разве в Советском Союзе не любят книгу ? Или может быть любят, да издательства, которые все принадлежат при различных конторщиках тому же хозяину, с любовью этой считаться не желают ? Получай, мол, что дают, а то и этого тебе не будет . . . (*)

Француз, да и любой другой западный человек, не может по этому поводу не ощущать некоторого, мягко выражаясь, удивленья. Но конечно внешность книги не так уж важна, по сравнению с ее текстом, о котором он судить не может. Картина — другое дело. Тут, так сказать, внешность и внутренность одно. Вся мысль, все чувство в этой именно внешности и выражены. И чтоб судить о картинах, знать по-русски, разумеется, не нужно. Вот и глядят французы на эти картины, и я гляжу вместе с ними, их глазами гляжу, раз уж я вообразил себя французом, и чувствую: хочется мне пожать плечами, да тут же и замечаю, некоторые из них и в самом деле не выдерживают, плечами пожимают (сам то я все-таки удержался: боюсь соотечественников обидеть). Пожимает француз плечами, и что же он при этом думает ? В точности сказать трудно, да и думает один не совсем то же, что другой, но приблизительно думают они следующее (я говорю о

(*) Писалось это в 1961 году. С тех пор, в книжном этом деле, наметились перемены к лучшему. Но до 1911 (скажем) года путь еще далек.

тех, кто в живописи разбирается, а о положении ее в Советском Союзе ничего не знает):

Как же это так, что же это они нам такое показывают ? Неужели ничего другого у них нет ? Ведь так писали лет 70-80 тому назад ! В таком роде работали наши художники, но не те, чьи холсты висят нынче в наших музеях, а те, которых в те далекие годы пусть и хвалили, но теперь давно уже забыли, а имена их, если и помнят, то прямо-таки стыдятся называть; холсты их когда-то висели у нас в Люксембургском музее, но музей этот давно закрыт, а из всех других музеев, даже провинциальных, их картины убраны. Кроме того, теперь существует цветная фотография, так зачем же подражать ей в живописи ? Есть, правда, тут, на выставке, две-три вещи получше, Сарьяна, например, или Машкова, но ведь один — древний старик, а другой тоже был бы древним стариком, если бы давно не помер. Тут я, впрочем, сбился, француз о Сарьяне и Машкове вряд ли слыхал, хотя оба выставляли в Париже, Сарьян — я был на этой выставке — в 1928 году (там были вещи его лучше нынешних). Но вот, когда француз глядит на « Мать партизан » Сергея Герасимова, картину 1943 года, то уж наверное думает: какой волнующий сюжет ! Только беда, что именно сюжет один и волнует. Где же живопись ? Если поставить живую картину на эту тему и потом снять, получилось бы не хуже. Как тут не пожать плечами. Как не подумать: зачем же они прячут от нас настоящую свою живопись ?

*

И во второй этот раз ушел я с выставки грустный. Но когда вернулся домой и принялся читать брошюру, принесенную оттуда, грусть моя сменилась досадой или чем-то худшим, чем досада. « Искусство — народу ». Так озаглавлена иллюстрированная эта брошюра на

французском языке, раздававшаяся даром на выставке. Вот она передо мной. Но хранить ее я не стану. Раздражает она меня внутренней своей неправдой.

Текст и брошюре занимает гораздо меньше места, чем иллюстрации. Если иллюстрации просмотреть, не читая текста, никакой досады не почувствуешь, разве что легкое недоуменье: что вы всем этим, собственно, хотите сказать ? На обложке воспроизведена фотография, изображающая наполненный публикой большой зрительный зал. Далее идет фотография артистов на эстраде, аплодирующих публике, в ответ на ее аплодисменты. Далее видим портрет Шостаковича, концерт в ленинградской Филармонии, сцены из различных опер, драм и балетов, кинематограф « Прогресс » и людей перед ним на улице, сцены из кинофильмов, портреты Бондарчука и Татьяны Самойловой, несколько музейных и выставочных зал со зрителями, портреты Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, Ирину Бугримову и ее льва Нерона, узбекских танцовщиц и армянских танцовщиков, наконец студию, где обучают живописи заводских рабочих и концерт на заводе: играет оркестр, рабочие стоят кругом и слушают. На этом брошюра кончается и тут только начинаешь понимать ее заглавие. « Искусство — народу », ну да: оркестр приехал на завод, рабочих обучают живописи. Но значение всех остальных иллюстраций остается все же неясным. Заглянем в текст.

Текст начинается с цитаты из Ленина: « Искусство принадлежит народу ». После чего поясняется, что искусство принадлежит народу именно в Советском Союзе. В России не принадлежало и на Западе тоже не принадлежит. Эта последняя мысль прямо, впрочем, не высказывается, очевидно из вежливости, она лишь внушается читателю. В Советском Союзе, утверждает брошюра, уничтожено « разделение искусства на две категории — для избранных и для толпы ». « Раньше

оно предназначалось всего для нескольких тысяч людей, теперь оно на службе у миллионов». Далее текст, по поводу разных видов искусства, варьирует на разные лады все ту же мысль. Как же отзовется на нее западный читатель, и прежде всего французский, для которого брошюра предназначена?

Должно быть сочувственно. Кто же, собственно, желает, чтобы искусство было достоянием очень немногих, а от других было бы ограждено какой-то китайскою стеной? Но связи этой мысли с иллюстрациями читатель все же не поймет. Важно ведь не то, чтобы уроки живописи давались на заводах, чтобы концерты происходили на заводах, но, с другой стороны, ничего такого уж сногсшибательного в этом нет. Важно лишь, чтобы рабочие, любящие музыку, имели возможность в свободной время ее слушать, а любящие живопись — заниматься живописью. Эту возможность, скажет француз, они имеют и у нас. Что же касается концертов вообще, больших зал, наполненных публикой, оперных, драматических и всяких других спектаклей, композиторов, исполнителей, актеров и т.д., то не могут же устроители выставки думать, что все это только у них в стране и есть? А у нас, скажет француз, разве нет всего этого? И почему у нас это меньше принадлежит народу, чем у них. Почему наш какой-нибудь композитор меньше принадлежит народу, чем Шостакович, и наш укротитель зверей — меньше, чем Ирина Бугримова. Что ж у нас в цирк один президент республики ходит что ли?

Так скажет француз, рассмеется, да и только. Но я вместе с ним не рассмеюсь. Я знаю, что именно эта — не только ложная, но и лживая — теория искусства, изложенная в брошюре, приносит огромный вред нашему искусству, а значит и народу, для которого оно предназначено. Вред ее в том, что она снижает искусство, а лживость в том, что она это старается зату-

шевать. Если бы всем лучшим писателям нашего прошлого разрешено было с самого начала писать только « для народа », т.е. так, чтобы *всякий* мог написанное понять и оценить, то не было бы у нас нашей литературы: народ наш был бы ее лишен. И то же самое верно о художниках, о музыкантах. Если бы велено было композиторам писать только такую музыку, которая доступна людям немузыкальным или музыкальным в меру гармошки, но не в меру Бетховена, то никаких Бетховенов или Мусоргских не было бы ни у немцев, ни у нас. Искусство существует для людей восприимчивых к искусству. Восприимчивость можно в известных пределах повысить, и с классовыми различиями она не имеет ничего общего. Но следует миллионы учить понимать Пушкина, а не Пушкина определять на службу к миллионам. Да и служба эта окажется плохая, им не на пользу именно потому, что Пушкина уже не будет, что Пушкин перестанет быть Пушкиным.

*

Брошюру я выбросил: лжет. Не прямо, а косвенно: умолчанием, извращением понятий. Делает вид, что искусство у нас свободно, а у нас и совесть, без которой настоящего искусства нет, сидит в тюрьме. Вспомнил я при этом столик на выставке, в книжном отделе. Лежала на нем большого формата в коричневом переплете Библия, Новый Завет рядом с ней и еще некое солидного вида сочинение о положении Церкви в Советском Союзе — превосходном, процветающем положении ее... Решил больше на выставку не ходить. Но перед самым ее закрытием, заглянул туда все-таки еще раз.

Не то, чтобы там чего-то не доглядел, а просто так, захотелось мне с ней проститься. Ведь она как-никак клочок чего-то своего, тут, « на чужбине », ко-

торая, хоть и не чужая для меня, а все ж и не что-то до конца родное. Правда, родился я и вырос не в СССР; родина моя — Россия; выставка же — сугубо советская. Будь она русской, была бы совсем другой. Но тем не менее, в советской упаковке, под советским ярлыком, Россия не исчезла же совсем, есть там все-таки у них Россия. И не только в образе блинов, водки, икры, балалайки, трепака, но и в образе ином, несравненно более драгоценном. Встречал я иностранцев, для которых Россия вся из такой немудреной экзотики и состоит. Что касается меня, то я вполне могу ее себе представить без саней, запряженных тройкой, а вот без рублевской « Троицы », без восьмой главы « Онегина », без « Войны и мира » не могу, и без того не могу, из чего все ее великие творения — ее, а не чьи другие — вышли, на чем они возросли. Определения дать этому нельзя, никакой формулы тут подыскать невозможно, но почувствовать это нетрудно, даже и многие нерусские очень хорошо это чувствуют.

И на выставке чувствуют ? Не знаю. Боюсь, что нет. Надо о чувстве этом помнить, испытав его раньше, надо Россию знать, чтобы ее узнать, чтоб следы ее уловить на выставке. Следы эти — слабые, бледные . . . Почти одна советская упаковка и видна, упаковка к тому же не выигрышная, неказистая, напоминающая и в самом деле шпагат да оберточную бумагу. Упаковка — серая, а потому и Россия сквозь нее кажется бесцветной, серой. Как грустно ! И все-таки пошел я вновь на выставку, должно быть для того, чтобы погрустить там в последний раз.

Как и в другие разы, борща я там не заказывал, водки не пил, да и ничего истинно-русского себе на память тоже не купил. Надо сказать, что и выбор такого рода предметов был на выставке не велик. Кустарная промышленность у нас, как видно, угасает. Не пленили меня, ни деревянные бабы или медведи, все

какие-то наскоро и по шаблону изготовленные, куда скучнее прежних; ни платочки с видом Кремля, жиденькие-прежиденькие; ни даже лакированные шкатулки с изображением на выбор: удалой тройки или пухленького Ильича с нежно-розовыми щечками. Шкатулки, впрочем, пришлись бы мне и не по карману: продавали их по весьма дорогой цене. Вот глиняные вазочки, упоминавшиеся мной уже, были в самом деле, хоть и скромны, да недурны, но о них честно было сказано, что они эстонской выделки. Пожалел я даже, на них глядя, что сам я не эстонец. Тут же продавалась пропагандная литература на французском языке, но что же в ней русского ? Да и странно было бы такую книжку купить на память. Наконец, у самого входа — потому что вся эта торговля происходила, как я в начале и сказал, не внутри выставочного павильона, а снаружи — у самого входа продавались, кроме миниатюрных моделей Спутника, также и открытки с портретами Гагарина и Титова. Но и тут я не соблазнился. Титов и Гагарин — молодцы, что и говорить, и притом, конечно, русские, но цветные снимки, воспроизведенные на открытках были так плохи, открытки так жалки, что не захотелось мне покупать и их. Что же касается моделей, то назначение их в том, чтобы напоминать о некоем чуде техники, но ведь техника, по самому своему существу, нечто вне-национальное. Есть такие сказки, которые только русский мог сочинить, такие песни, которых никто, кроме него, сложить не мог. Но такой машины нет и не может быть, которую только русский или только англичанин, только японец способен был бы выдумать или построить.

Так что я ничего не купил. Вошел. Обошел напоследок еще раз всю выставку. Заметил впервые, что среди прочих « достижений » показаны также и часы, обыкновенные часики-браслеты: ишь ты, чем вздумали удивить ! Ведь и так каждому ясно, что

нельзя же на все двести миллионов часы выписывать из Швейцарии. А в отделе тканей (ох, каких бедных) и одежды увидел, тоже впервые, как полдюжины девушек и тот самый, называемый здесь Мсье Владими́р, ярко-блондинистый молодой человек показывали парижанам свои скромные, прочно сшитые должно быть, но не очень ладно скроенные московские туалеты. Кто-то почему-то распорядился, чтоб они бегали при этом мелкой рысью по эстраде; это парижан слегка смешило. Но какие милые русские лица ! Побегали, побегали, раскланялись и ушли. Потом я долго смотрел на фотографии русских городов и на кое-какие из картин, висевших неподалеку. Картины были плохи, как и почти всё на выставке, что не зависит от одной техники, что не безлично, как она. Но сквозь эти плохие картины, как и сквозь те фотографии, а больше всего сквозь те милые молодые лица мне все-таки виделось что-то — не прошлое, нет; не прошлое, а всегдашнее. То самое, чего нельзя определить. То русское, что припрятано, но не совсем погребено в советском.

Нет, я все-таки не жалею что пошел попрощаться с Москвой у Версальских ворот.

В ГОДОВЩИНУ «ОКТЯБРЯ»

Приснилось мне: подхожу к ограде, — высокой, крепкой, той что прежде звалась «железный занавес» (не так она нынче плотна); слушаю, гляжу. По ту сторону что то началось.

Играет военный оркестр, грохочут броненосцы, сухопутные, по мостовой, гремит и железно скрежещет небо над ними. Но вот я этого уже и не слышу, не слышу речей, площади не вижу; вижу одних людей. Шествуют, празднуют, золотую свадьбу справляют России (она с тех пор — третья Россия) с молодцеватым — плечи ватой подбиты — на толстых подошвах Октябрем. Лица у него нет: сплошной плакат, а среди празднующих некоторые в масках. У других лица открытые, простые...

Только лица я теперь и вижу, — разные конечно, но «в основном» (как Октябрь говорит) двух сортов. Одни — большинство их сверху, над помостом что ли? — твердокаменны и самовлюбленны, нескрываемо самовлюбленны; оттого открытыми можно назвать и их. Дородные, по старой памяти сказал бы я кучерские; есть и женские при них, верней «дамские» но и бабьи в то же время; женские же и девичьи скорей не средь этих, а среди других. Милы мне эти другие, такие знакомые, прежние, усталые порой немного, когда с улыбкой глядят на то, что вместо лица у Октября; но если молодые, то и совсем бодрые, праздничные, без всякой грусти. Радость, однако, или улыбка на всех этих лицах, не совсем та же, что на тех, щекастых. Те и радуются точно на себя глядя, и улыбка их значит: знай наших и сам не плошай, а не то... Эти же радуются вестям

надзвездным или просто так, празднику, если помоложе; если же постарше, тому, что с недавних пор, какникак, легче стало жить, что война — в прошлом, гражданская тоже, голод и беспризорники тоже, что Сталин . . . , ну одним словом что нет Сталина, и что все эти пятьдесят лет прошли безвозвратно, как (дай Ты, Господи !) и он, и что впереди, с Божьей помощью (жаль что свечку поставить нельзя той мумии в мавзолее) будет лучше, или хоть так же, да не хуже.

Ясней это, конечно, на крестьянских лицах написано; городские молчаливей. Есть задумчивые и средь молодых; эти всех милей. Немилых, впрочем (да разве так уж и те были гадки ? туповаты, да и только) больше и не вижу. Иду вдоль ограды. Калитку ищу. Вот она; сейчас позвоню . . . Только рука моя почему то не поднимается к звонку. Пытаюсь поднять. Не могу. Еще раз. Еще . . . Проснулся.

*

В чем дело ? Отчего не позвонил ? Разве мне их празднованье непонятно ? Разве чужие они мне ? Если бы чужими были, я бы калитку не искал, да и сна бы этого не было. Не нравится мне, конечно, что они с таким грохотом военным годовщину эту, как и все прочие, справляют: недруги, яко бы, живьем готовы их съесть. И конечно Октябрь добра не принес — не Октябрь, поскольку оно есть, его принес — их и моей стране. Но ведь и я знаю, не хуже их, что сделанного отменить нельзя. Нельзя третью Россию (после петровской и до-петровской) считать все той же второй, но и нельзя не считать ее Россией, хоть это имя у нее и отнято. Может быть вернут ей его; может быть октябрьская чешуя когда-нибудь с нее, пусть и не бесследно, сползет; может быть только тогда внуки или правнуки наши настоящее ее лицо и увидят; но во

всяком случае, пока что, на русской земле, другой России, кроме октябрьской или советской, нет; а если так, то подобает и мне принять ее бытие и сочувствовать тем, кто продление бытия этого празднует. Сам я, правда, к зарубежной России принадлежу, которая Октября или последствий его не приняла, и осталась верна — чему ? Нет, не одной лишь второй России, а России. Она вторую Россию, хоть и в оскудении, жизненно продлила, а не законсервировала ее в каком то заграничном холодильнике, и о третьей при этом не забывала: скорбела о ней, *ради нее* пеклась о том, чтобы преемственность, прерванная Октябрем не совсем оборвалась, чтобы росли и обновлялись старые связи наши с Западом, и чтобы Россия, третья Россия могла вернуться в Европу и к себе, когда наконец дышать ей будет вольней, и когда от зарубежной не останется ничего, кроме неверного, искаженного враждой одних и безразличием других воспоминанья.

Но если я так думаю и чувствую, отчего же рука моя и во сне подняться к звонку не захотела ? Отчего не сделал я попытки присоединиться к соотечественникам моим, которые, в огромном большинстве, празднуя годовщину, ничему другому и не радовались, как именно отечеству, своему и моему ? Разве не радуюсь и я, что Россия, какая ни на есть, все таки есть ? Или я быть может непримиримый сторонник « частной собственности на орудия производства » ? Какая чушь ! Да ведь я, к тому же, не сразу после Октября и уехал, а прожил в России, без « помещиков и капиталистов » еще почти семь лет. Так почему же уехал ? Отчего не вернусь ? Ответить могу очень просто. Уехал, потому что понял: отныне (с осени 24-го года) пришлось бы мне в университете преподавать, да и книги или статьи писать не в согласии с собой, не по совести, а по чужой указке. Домой же не прошусь, потому что повертеться у себя в Петербурге, и через месяц вернуться в Париж,

было бы и больно и смешно, а переселяться совсем в Россию (если бы меня туда пустили) значило бы отказаться от свободного писанья и говоренья, к которым я привязан. Что же до кладбища, то хорошее, русское, где иные русские лежат, которым я в подметки не гожусь, есть и тут. Могу все это сказать, и будет все это правда, но коренного, самого острого отталкиванья моего слова эти не выразят. Отсутствие свободы ? Да, это главное. Это — всё. Но чувства моего этим утверждением я еще не выразил. Как же мне его выразить ? Часто и прежде я искал ему выраженья, и всегда, довольно безрассудно, возвращалась мне при этом на ум одна стихотворная строчка, державинская: « Противен мерзкий изувер ! » — Но тут необходимо объясниться. Решат пожалуй, что я те милые лица, за оградой, изуверскими считаю. Ничуть. Ничуть.

*

Противен мерзкий изувер ! О каком же изувере я думаю ? Или вовсе нет рассудка в этом безрассудстве ? Не о каком-нибудь определенном лице, живом или мертвом. Ленин был одержим безоглядной похотью разрушенья и проведения в жизнь, любой ценой, не им придуманной, но им упрощенной и приспособленной к его целям идеологии; в нем жил изувер, но в сожительстве с очень гибким и реалистическим политиком, да и само его изуверство было подпольным или площадным, но всегда пиджачным, не затянутым в мундир. Сталин был изувер в мундире, и премерзкий, но точно также не сплошной: с примесью разбойника; поигрывал пистолетом; злодействовал ради власти и ради злодейства, поверх всякой идеологии. Изуверами в чистом виде были скорей Дзержинский, Покровский, Жданов, Молотов с его электронными мозгами; но их нет, и когда я повторяю про себя державинский стих, я вовсе

о них не думаю. Не думаю — но уже по другим причинам — и о самом Октябре, или о сути, о « духе » Октября. Октябрь и революцией не был: он был мятежом и переворотом, на службе желаемой Лениным революции; (Блок не написал бы « Двенадцати », если бы во время понял, что ветер восстания одно, а вращение революционных жерновов — совсем другое). Но вот революция эта в целом, ее жестяная, механическая идеологичность — свойственая ленинскому ее замыслу, но не тактике и даже не стратегии Ленина — вот этот ее мертвый и мертвящий дух, с неодинаковой полнотой воплощавшийся в ее вождях, — он еще не исчерпан и сейчас, хотя революция исчерпана, и это о нем я думаю, когда с отвращением бормочу: « Противен мерзкий изувер ! »

Изуверскому этому духу и носителям его Россия обязана казнью, изгнанием и заочным очерненьем лучших ее людей, истреблением значительной и едва ли не самой живой и способной части своего крестьянства, издевательством над его совестью и верой, опошлением его быта, оплеванием Церкви и разрушением церквей, низведением всех наших искусств и наук, кроме управляющих техникой, точных, а прежде всего всей словесности нашей и ее языка на чрезвычайно низкий (слегка повысившийся лишь за последние годы) уровень, как и подсобным всему этому, глубоко всему этому созвучным вдалбливаньем во все головы, с детских лет, лжи и чепухи, способным искалечить любые мозги и оставляющим свой мусорный след даже в самых светлых умах и душах. Именно изуверство, тупой фанатизм идеологов тому виной, а вовсе не — как склонны многие думать даже и на Западе — необходимость индустриализации, « построения социализма » или борьба с темнотой, косностью, неграмотностью и мало ли еще с чем. Любой не вполне утопический социализм можно было построить, любую индустриа-

лизацию провести без массовых убийств и лагерей, без осквернения сердец ненавистью, без набивания мозгов жеваной бумагой, и нет ничего темней, ничего безграмотней, чем тот идеологический экстракт или сироп, которым питают каждого, чуть ли не с пеленок у нас в стране, как и повсюду, где царствует олицетворенный (например в Китае) или растворившийся — нет, не в коллективе, даже не в « коллективном руководстве », а в самом коллективизме изувер.

*

Противен, мерзок... Тошноту испытываю при одном виде красного катехизиса Мао, Краткого курса истории партии, Основ марксизма-ленинизма. Конечно, во всех этих компендиумах изуверства найдутся истины (тавтологии, большей частью, или трюизмы), с которыми нельзя будет и мне не согласиться, но ведь авторы этих книг не ищут моего согласия: они хотят, чтобы я проглотил их жвачку не жуя, чтобы она просочилась целиком в мой мозг, заменила бы мне мозг. Нет, не войду я в калитку, не потянется рука моя к звонку. Однако тех, кто там, за решеткой, я к изуверам не причисляю; изуверами не считаю даже и тех, кто за решеткой держит всех остальных. Тюремщиков этих не могу не осуждать, особенно когда вижу с какой придирчивой неохотой и нудной канителью они людей за решетку выпускают даже на короткий срок. Понимаю, однако, что такие их повадки, как и многое другое в их словах и делах, вызвано не прямым, не их собственным изуверством, а инерцией изуверства, пятьдесят лет подряд насаждавшегося в стране. Думаю, что теперь чистокровных изуверов там не много, может быть нет их там и вовсе. Идеология обернулась фразеологией; почти ничего другого от нее и не осталось; а если полностью ее отбросить представляется

столь трудным и сейчас, то ведь это отчасти потому, что не только воспрещено проверять ее или опровергать, но никому этого делать и не хочется, до того набила всем оскомину принудительная ее зубрежка. Вызубренное повторяется миллионы раз и, незаметно для повторяющих, теряет смысл или его меняет. Оскомину лечат выбирая предметы, где мысль не столь быстро рискует попасть в капкан готовых формул, прекращающих ее работу. Больше и лжецы не лгут: они повторяют ложь, что отнюдь не то же самое. Попугай не ошибается говоря « дважды два пять », и не лжет провозглашая себя ангелом, а других чертями. Бранить его за это бессмысленно, изувером назвать его нельзя. Изуверство не в нем, и не в ком. Оно лишь в предписании слушать государственный громкоговоритель, не перечить ему ни в чем, повторять его слова . . .

Однако я и тех твердолицых на помосте не склонен в изуверстве обвинять. Они всего лишь боятся, что утратят власть, если откажутся от всё на свете объясняющей, а необъясненное отрицающей идеологии, если отменят неразрывно с ней связанное идолопоклонство. Нельзя, даже их одних имея в виду, сказать, что нынешняя Россия идолопоклонническая страна, твердо верящая во внушаемые ей, полвека сряду, под видом истин, идеологические враки. Не идолопоклонство составляет главную черту, отличающую ее от прежней России или от Запада, а принудительное идолопоклонство; это опять таки большая разница. И не дьявольская (как захотелось мне, было, пушкинским словечком ее назвать), а весьма утешительная. Хоть и скверно идолопоклонство по принужденью, но куда скверней и куда грустней было бы нам, если, подойдя к ограде мы увидели бы, что по ту сторону

И дети малые, и старцы в сединах
Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах,

по собственной воле, не под кнутом, чего, конечно, не было там, за решеткой, даже и при Сталине.

Пусть идолопоклонство и не исчерпывается (нынче всего менее) поклонением живому или мертвому лицу, но принудительный его характер, у нас в стране, пожалуй именно тут сказывается всего ярче. Когда, например, издатели Лермонтова (Москва, 1953, т. 1, стр. 397) почтительнейше извещают, что стих « Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно » « использовал в своих выступлениях Владимир Ильич Ленин », не могу же я считать, что они это делают не из под палки (тем более, что стих этот давно перешел в пословицу); как и не могу предположить, что разнообразные авторы предисловий к собраниям стихотворений Тютчева каждый раз по собственной инициативе упоминают о том же Владимире Ильиче, Тютчева (будто бы) читавшем и ценившем. Столь неуклюжее каждение кремлевскому чудотворцу, при жизни вовсе не кичившемуся литераторством или знаньями, кроме разве что марксистских, объясняется конечно грубым ритуалом государственного культа, обязательного для всех, а не беспокойством о том, что иные, без такой высокой рекомендации, вовсе и познакомиться с Лермонтовым или Тютчевым не пожелают. В этом и многом другом, как и в прижизненном культе, воздававшемся кремлевской личности, ныне выселенной из мавзолея, идолопоклонство, разумеется налицо, — но ведь вынужденное. Кто же, если вычтет случаи превышающего узаконенную меру подобострастия, станет в этом сомневаться ?

Как уже сказано, есть и другого рода идолы. Еще в шекспировские времена, четыре их семьи — племенные, личные, « рынка », « театра » — очень язвительно описаны были Бэконом. Кто Бога отвергнет, говорит старец в «Подростке», « тот идолу поклонится — деревянному или златому, аль мысленному. Идолопо-

клонники это все, а не безбожники». Он прав. О живых или мертвых лицах, в качестве идолов, он еще ничего не знал, но «мысленные» были ему, как и Достоевскому, хорошо известны. Некоторые из им обоим известных, соединившись с другими, образовали ту самую тоталитарную идеологию, которая, в результате Октября и стала «мысленным» идолом нынешней России. Это идол многоликий, составной; поклоняться велят ему во всех частностях, как и в целом, причем целое это носит обманчивое имя марксизма-ленинзма. Никакого отдельного ленинизма нет. Ленин лишь извлек из толстого Маркса тощий «изм», но дал ему — как раз этой скудостью обусловленное — безграничное применение, вследствие чего он и стал объектом идолопоклонства, заменяющим религию и философию, а вдобавок искривляющим и все науки, кроме не поддающихся искривлению математических или экспериментальных (хотя различные Лысенки пытались и их, в разное время, искривить). О принудительности этого, как и другого, идолослуженья можно точно также судить по мелочам. Оно заставляет наклеивать ярлыки — с надписью «яд», черепом и костями — на все с ними несогласное. Платон, Кант, Владимир Соловьев помечены, как и многие другие, наклейкой «философ-идеалист», все равно что евреи желтой звездой при Гитлере. Мережковский — «мракобес и мистик» (так его аттестуют в комментариях к недавнему изданию биографических материалов о Достоевском). Но ведь конечно лишь угрозой можно принудить людей наклеивать такие ярлыки: кому ж охота расписываться в собственной глупости ? Слово «мистик», примененное в качества позорного клейма, обличает невежество клеймящего, а мракобесие идеологическое, всякий знает, гораздо тупей и черней религиозного, в котором Мережковского даже злейший (но честный) враг никак не мог бы обвинить. Нет, нет, ни на каких реках вави-

лонских, ни в каком « прекрасном далеке », не дай мне Бог забыть разницу между идолопоклонством и принуждением к идолопоклонству.

*

Думаю о них, о внучатых племянниках моих за решеткой. Даже если увижу их поклоны, не поверю, что по доброй своей воле поклоняются они идолам. Вспоминаю походя брошенное замечание Хомякова: преступление христианства, по римским понятиям, заключалос не в том, что оно отрицало божество Юпитера или Минервы, « а в том, что отрицало верховную божественность государства, поставлявшего богов». О если бы нынче шла речь всего лишь о Минерве да Юпитере! Другие, безмозглые и совсем по иному свирепые боги требуют себе фимиама и жертв. Но соотечественники мои за решеткою знают, что есть одна сила на свете, которая верховную божественность государства сломила и ее не признает никогда. Одна. Нет другой. Этому сами гонители их научили. И ясней это стало теперь, чем было полвека назад.

ПОРА РОССИИ СНОВА СТАТЬ РОССИЕЙ

Полустолетия вполне достаточно. Побаловались; хватит. Пора нам всем, пора всем, живущим в России, вернуться в Россию.

Первое и самое важное условие как будто для этого налицо. Образовался новый, совершенно нового состава, строящий, мыслящий, ведущий общественный слой, — новое служилое сословие, наделенное энергией, уменьями, знанием дела, преданностью интересам страны и еще не порвавшее связи с той крестьянской и рабочей средой, из которой оно вышло. Это не люди, делавшие революцию, а люди, сделанные ею. Им, и особенно новому, молодому поколению их, принадлежит будущее. От них зависит, будет ли оно достойно прошлого, оправдает ли революцию, всю кровь, пролитую ею, исполнит ли обещания, свидетелями которых были мы, — не братья, не отцы, а скорее деды этих людей, — когда их еще не было на свете, в начале нашего столетия. Мы можем им сказать одно, то самое, что лучшие из них и сами все больше чувствуют и знают: путь к будущему ведет через воссоединение с прошлым, через восстановление нарушенной революцией преемственности. Плечистый недоросль СССР должен вновь овладеть отнятым у него прошлым; тогда он станет вновь Россией — той, что вросла в Европу тысячелетней своей историей.

Дореволюционная Россия была частью Европы, хотела быть и была европейскою страной. В начальные ее времена никакое средостение не отделяло ее от тогдашнего западного мира. Только разгром Константи-

нополя крестоносцами и последовавшее вскоре татарское нашествие привели к боязни «латинства» и к тому отчуждению от остальной Европы, которое наложило на Московское Царство такую тяжелую печать. Но и в течение этих четырех с лишним веков отчуждение было менее полным, чем обычно думают, а главное, после того, как оно кончилось, очень скоро стало ясно, что, преодолев его, Россия обрела подлинный свой путь, который именно отчуждение ей и преграждало. Реформа или вернее революция, положившая ему конец, была свирепа, была разрушительно груба, но направлена была верно, и Герцен был прав, говоря, что Петр бросил вызов России и что она ответила ему Пушкиным. До Пушкина еще, она ответила образованием литературного языка, нового стихосложения и усвоением всех тех западных начал, что легли в основу новой литературы, новой музыки, нового искусства, новой науки и мысли — всего цветения духовной жизни в петербургский период ее истории. Мы, старики, в этой петербургской России родились. Мы — очевидцы ее конца, но и ее последнего расцвета.

Названо было это время « серебряным веком », хоть и продолжался он, как и пушкинский « золотой » — от « Цыган » до « Сумерек », в поэзии — всего лет двадцать, но вычеркнуть эти двадцать лет из нашей истории нельзя. Ими завершены и увенчаны ее лучшие два столетия; не серебряные они, слишком это для них скромно: эти двадцать лет искупили и затмили те два тусклых десятилетия, что предшествовали им. Все тогда обновилось или начало обновляться, как хозяйственная, материальная жизнь, так и другая, та, для которой только и стоит жить. Обновилось политическое сознание общества и религиозное сознание Церкви, обновились университеты и университетская наука, обновилась философия, литература, музыка, театр, все виды искусства. И все это обновление происходило под

знаком окончательного соединения с духовной жизнью Западной Европы, причем и теперь, как и в пушкинские времена, это отнюдь не вредило, а, напротив, помогало укреплению национального чувства и познанию собственного прошлого. « Открытие » новейшей французской живописи посодействовало « открытию » древнерусской иконы, подобно тому, как деятельное и живое изучение западной истории углубило понимание московской и киевской Руси. Паломничества на Запад, к его святыням, к его старинным городам учили понимать Новгород или Владимир; наши поэты и живописцы находили новые пути, сближаясь с западной живописью и поэзией. Те, чья юность пришлась на это время, помнят, что оно было временем подъема всех духовных сил, давшим России очень много и обещавшим дать еще гораздо больше в будущем.

Будущее это не состоялось. Но то, что его готовило, то, что цвело, всетаки не было одним ударом сведено на нет в октябре семнадцатого года. Таких внезапных прекращений духовная жизнь и вообще не знает, да и невежественная власть с твердолобой и скудоумной своей идеологией не сразу научилась эту ненавистную ей жизнь успешно вытравлять. До середины двадцатых годов не раз вспыхивала она пламенем достаточно ярким, а потом теплилась, правда, все слабей, еще лет около десяти. Искры вылетали из-под пепла и позже, вылетают и теперь — чаще даже, гораздо чаще, чем еще недавно и все это, если всмотреться, искры того самого, когда-то горячего и яркого костра: стоит прорыться сквозь золу, и он будет гореть, будет согревать, как прежде. Не мешает, однако, и вспомнить, что не весь его жар и свет тут и погребен под золой в родной земле. Немало увезено было уже давно в чужие края и не все из этой доли погасло и остыло безвозвратно. Наш « серебряный » век, хоть и очень ущербленно, но

все же продлился во многом из сделанного за рубежом, и для восстановления преемственности все это столь же необходимо учесть, как и все, чем удалось его продлить на его старом пепелище.

Восстановить преемственность, воссоединиться с прошлым можно, лишь начав с прошлого самого недавнего. Несмотря на все препятствия, на все окрики сверху, люди, что помоложе, превосходно это поняли у нас. Не со вчерашнего дня множатся признаки живейшего интереса в новом ведущем слое и особенно среди университетской молодежи к литературе, мысли, искусству именно этого сугубо запретного и черней всех других оклеветанного времени. Знать ей о нем не велят, прячут его за таким, например, чумазым заслоном, как десятый том « Истории русской литературы », изданный Академией наук, должно быть, по поручению заседающего в Чухломе « Общества по изучению древностей Пошехонья ». Стоит перелистать его, чтобы понять, какой огромный труд предстоит тем, кто пожелает восстановить связь как раз с самым нужным, с самым нашим недавним, но подлинным, а не препарированным по давно всем надоевшим, но все еще обязательным рецептам, прошлым. Однако там, где истина всего сильней искажена, там и больше всего смысла работать над восстановлением истины. Нигде в нашем прошлом не найдется столько пищи для будущего, как в этих оболганных блюстителями казенного правоверия, несчастных во многом, но славных и памятных годах.

Возврат к прошлому невозможен. Но именно потому, что в новом поколении и мысль о таком возврате никому в голову не придет, преемственность может и должна быть восстановлена. Не с московской, разумеется, Русью, не с опричниной, не с боязнью нового и чужого, не с готовностью к вечному повторению пройденного — всего этого у нас и так хоть отбавляй,

— а с Россией петербургской сквозь то время, когда была оборвана необходимая и естественная с нею связь. И тут тоже, конечно, не с тем, о чем и без того нам во все эти после-октябрьские годы столь наглядно и настойчиво напоминали: не с Аракчеевым, не с крепостным правом, не с дубиной Петра или шпицрутенами Николая Первого, не с бахвальством, выдаваемым за патриотизм, не с шестидесятническим варварством в области мысли и в области искусства, а со всем лучшим, что в ней было и из чего столь многое теперь забыто, опорочено, оклеветано. Да и вся в целом ее история, и только она одна, может и должна нас научить самому трудному, самому нужному: тому, как ее продолжить. А продолжить ее *надо,* после того как полвека не продолжали ее, а ей изменяли, предавая ее, зачеркивая ее смысл.

Петербургская Россия воссоединила Московию с Западом, завершила единство Европы, утвердилась в ней, приобщилась ее духовному богатству и приумножила его от собственной полноты. Нынешняя, если хочет ей наследовать, должна заново прорубить окно — не в Европу даже, на первых порах, а в свое близкое, родное, но на половину неведомое ей, украденное у нее прошлое. Соединяясь с ним, как того ищет пореволюционное молодое поколение, она соединится и со всем другим, что от нее прячут или представляют ей в фальшивом свете: с европейским прошлым, столь же своим, столь же нужным ей, как и свое, и со всем настоящим, без дискриминации, но и разумно, а не наобум, для построения единого для всех европейцев будущего.

Чтобы это случилось, нужно вымести сор из избы, убрать гнездящуюся по углам путаницу и мертвечину, нужно совесть раскрепостить, нужно выбросить за окно отрепья давно исчерпавшей себя, давно уже беспредметной идеологии. Срок для этого настал. Люди для

этого есть. Пора нашей стране очнуться, прозреть, пора зажить на ветру, а не взаперти, новой, зрячей, полноценной жизнью.

Путь для вас, внуки, открыт. Пора России снова стать Россией.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I

II

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Умирание искусства. Париж. 1937 (распродано).

Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Изд-во имени Чехова. Нью-Иорк. 1952.

Задача России. Изд-во имени Чехова. Нью-Иорк. 1954.

La Russie absente et présente. Gallimard. Paris 1949.

Les abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts. Gallimard. Paris. 1954.

Les icones byzantines et russes. Electa. Milan. 1962.

A. ROSSEELS PRINTING C°
70, rue du Canal — Louvain
☎ (016) 219.62 — Belgium